

Игорь Данилевич

Истории прошлой жизни

I Verlag, 2026

Игорь Данилевич

Истории прошлой жизни

Зарисовки

I Verlag, 2026

© 2026 Игорь Валерьевич Данилевич
«Истории прошлой жизни»
Зарисовки

<Выходные данные и тираж>

«Дела давно минувших дней...»

А. Пушкин

«...Где был живёт и небыль...»

Ю. Энтин

«В те времена укромные, теперь почти былинные...»

В. Высоцкий

Вместо предисловия

«Будешь щёлкать семечки – заработаешь аппендицит.» Эту фразу я слышал в детстве так часто, что счёл себя не-уязвимым для этой болезни – ведь семечки я никогда не щёлкал. Поэтому, когда у меня однажды сильно заболел живот, я был готов объяснить это чем угодно, но только не аппендицитом. Тем не менее, в больнице поставили злополучный диагноз и вынесли приговор «Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита» ещё до выхода на экраны фильма «Покровские ворота». Хотя даже на операционном столе я всё ещё пытался объяснить врачам, что семечки терпеть не могу.

Проснулся я в палате на четверых. Напротив меня располагалась кровать некоего Александра Петровича, который работал, по его признанию, обыкновенным инженером и которому было тогда пятьдесят четыре года. Он запомнился многочисленными и красочно рассказанными байками из собственной жизни. Истории были совершенно обычными, которые, в принципе, могли происходить с любым человеком. В них не было ни особых подвигов, ни встреч с генсеками и президентами, ни работы на великих стройках социализма, ни самостоятельных полётов на истребителях. Мало того, во многих рассказах сам Александр Петрович представлялся не в самом героическом свете.

И тем не менее, я ему позавидовал. Просто потому, что ему было о чём рассказать и было что вспомнить, а мне нет. О чём я мог поведать? О школе, которую я в то лето как раз закончил? О папе с мамой? О брате? У меня даже бабушки-дедушки к тому времени давно умерли. Кроме состоявшегося без меня переезда на новую квартиру, в моей жизни ничего не произошло.

Я сказал об этом Александру Петровичу, когда уже после выхода из больницы мы встретились на улице – ведь жили мы на одной автобусной остановке, в двухстах метрах друг от друга. Он улыбнулся и посоветовал мне особо не переживать по этому поводу. У него самого был внук ровно моего возраста, которому тогда если и было что рассказать, то не больше, чем мне. «Просто живи, как живёшь, – сказал он, – а рассказы накопятся сами собой.»

Так и произошло. К тому времени, когда я достиг возраста Александра Петровича, сами собой накопились воспоминания, события, знакомства, впечатления и поступки, о которых я могу рассказывать целыми днями, не опасаясь, что выдохнусь. А ведь и у меня не было ни встреч с генсеками, ни строек социализма, ни полётов на истребителях. Жизнь прошла буднично, серо и спокойно. Я думаю, что на долю моих родителей и предков выпало столько всего, что на мне история решила немного передохнуть.

Рассказ про Александра Петровича был бы идеальным предисловием к мемуарам, вздумай я их написать.

А вывод простой: не надо торопиться жить. Успеется.

Детские шалости со спичками и без

Как поётся в песне, «в детстве мы жили-были». А жили-были мы в коммунальной квартире, или, как говорили в Омске, «на подселении» на пятом этаже большого сталинского дома, самого известного в городе.

Моих сверстников в доме не было, лишь сплошная малышня или совсем уж взрослые – старшие школьники или студенты. Из более-менее близких по возрасту жил в доме некий Вадик, старше меня на год или полтора. И вот однажды этот Вадик пришёл ко мне в гости. Было это днём, когда все были на работе, в том числе наши родители.

Вдоволь набесившись и наигравшись, мы не знали, чем больше заняться. В серванте (знаете, что это?) мы обнаружили коробку конфет «Птичье молоко», бывшую тогда совершенно немислимым дефицитом. Кто-то подарил её маме, а она хранила её как семейную реликвию. Недолго думая, мы вскрыли целлофановую плёнку и открыли коробку. Вадик съел почти все конфеты, несколько достались мне, а братику мы не дали, потому что на шоколад у него была аллергия. Когда осталась только одна конфета, мы оставили коробку в покое. Закрыли ей и убрали на место, будто ничего не было.

Вышли на балкон, пересмотрели хлам, который там хранился, и не нашли ничего интересного.

Тут наше внимание привлек подоконник соседней с балконом комнаты. В отличие от современных домов, в совсем старых сталинках подоконники были не только со внутренней стороны, но и с внешней. Зимой мы хранили на нём замороженные продукты, хорошенько укрыв их от птиц. Летом же наружный подоконник становился ареной боёв с многочисленными голубями, с переменным успехом пытавшимися превратить его в своё отхожее место.

Кому из нас пришла в голову эта сумасшедшая идея, я не помню, но состояла она в том, что Вадик перелезет с балкона на внешний подоконник соседней комнаты и через окно попадёт внутрь. Наружный подоконник был гигантских размеров и не только выступал вперёд, за фасад, но и раздавался в стороны, так что один его край находился максимум в метре от балконных перил. Задача, в принципе, не ахти какая сложная, если не учитывать того обстоятельства, что выполнять её предстояло на двадцатиметровой высоте без какой-либо страховки.

Я открыл окно соседней комнаты и встал рядом, чтобы затащить Вадика через окно в комнату, в случае чего. Хотя толку от меня в случае этого самого чего было бы мало-вато. Оставшийся на балконе Вадик забрался на перила. Друг другу мы казались находящимися совсем рядом, только руку протяни. Это не было иллюзией, расстояние на самом деле было небольшим. Куда большим было расстояние до асфальта внизу.

«Я не решаюсь», — пробормотал Вадик и в следующую же секунду шагнул вперёд. Или прыгнул.

Приокнулся он - хорошо, что не приземлился - там, где мы и рассчитывали. В комнату он влез без моей помощи.

«По-моему, там твоя мама идёт». Это были первые слова Вадика после того, как он слез с подоконника на пол. Мы посмотрели в окно и на самом деле увидели маму, возвращавшуюся с работы. Вадик тут же улетучился, а вскоре вбежала мама. От инфаркта на улице её спасла красная рубашка Вадика. У меня похожей не было, поэтому мама сразу сообразила, что с балкона в окно перелезаю не я.

Что за этим последовало, можно себе только представить. Тем более, что мама увидел на полу целлофановую обёртку от коробки «Птичьего молока». В самой же коробке гордо красовалась великодушно оставленная Вадиком одна-единственная драгоценная конфета.

Вторая история произошла года за два до первой. Родители работали, а нас с совсем маленьким тогда братиком оставляли под присмотром бабы Дуни – родственницы соседки по коммуналке.

Когда баба Дуня в очередной раз возилась на кухне, готовя нам еду, мы с братиком играли в игрушки. Игрушек у меня была целая коробка. В буквальном смысле – огромная картонная коробка с деревянным каркасом. Чего там только не было: от маленького электромоторчика и остатков конструктора до пожарной машины, способной прыскать водой из брандспойта на крыше.

Братик ковырялся с какими-то деталями, а я решил его удивить. Закрыв комнату на защёлку, положил в коробку газету так, чтобы наверху торчал один её уголок, и объявил, что сейчас будет что-то интересное. Братик приготовился смотреть, а я зажёл спичку, а от неё – уголок газеты. Почему-то я решил, что он будет гореть наподобие свечи.

Вопреки моим ожиданиям, огонь вовсе не собирался тихонько гореть в одном месте и не поверил, что это вовсе не газета, а свечной фитиль. Секунда, другая, третья – и вот уже полыхает вся газета.

«Ача», — заметил братик, что на его диалекте означало «горячий». Так он называл, например, воду в ванне во время купания или отопительную батарею.

Он был прав и в этот раз. Огонь на самом деле был «ача». Как я погасил зарождавшийся пожар, не помню. Тут же раздался стук в дверь – баба Дуня почуяла неладное и поспешила нас провести. Я открыл задвижку и с рёвом бросился ей в руки. К моему удивлению, ругать она меня не стала. Наоборот, успокоила и накормила только что приготовленной вкуснятиной. Спички я отдал ей сам. Рассказывать родителям она ничего не стала, да и ни к чему это было – ведь я всё понял, осознал и раскаялся. Вместо этого она помогла собрать горелую бумагу и проветрила

комнату. Братик же ничего не рассказал, потому что он тогда вообще был не в состоянии что-либо рассказать.

И лишь через много лет я вспомнил одну очень существенную деталь. Обычно коробка с игрушками стояла в углу. Но чтобы мы с братиком не мешали друг другу в тесноте, я перетащил её к окну. Каким-то чудом огонь умудрился не лизнуть висевшие тут же длинные оконные шторы из синтетической ткани. Так что если язык у меня в день несостоявшегося пожара не пересох, то сделал он это позже, когда я подумал про шторы.

Чтобы хоть немного приглушить шум, который мы с братиком производили в квартире, и не злить зря соседей снизу, нам выделили большой матрас. Он лежал на полу, на нём можно было беситься и прыгать вдоволь.

Однажды братик показал мне трюк собственного изобретения – переднее сальто в воздухе. Сначала он прыгал на кровати, предварительно раскачиваясь на панцирной сетке, а когда освоился, перешёл на матрас, где переворачивался с места, без всякой раскачки. Этот трюк он проделывал много раз, причём так легко и юрко, что создавалось впечатление его необычайной простоты.

Я тоже решил прыгнуть, но не с места на матраце, а всё же на кровати, с раскачиванием. Или с распрыгиванием, если можно так выразиться. Забрался на кровать, прыгал-летал какое-то время, а в один прекрасный прыжок решил перекувыркнуться, как это делал братик не раз, не два и даже не двадцать.

Видимо, кувырок получился неполным, потому что, когда я приземлился, в смысле, прикроватился, в моей шее, в самом верху позвоночника, что-то тихо щёлкнуло. В принципе, ничего такого, но через какую-то секунду я обнаружил, что не могу не только говорить, но и даже дышать. По счастью, перед самым прыжком я инстинктивно набрал

полную грудь воздуха, который, может, меня и спас, но который упорно отказывался выдыхаться.

Братик ничего не заметил. Он залез на кровать и стал показывать мне, как надо прыгать. А я даже не мог позвать на помощь, в панике хватая ртом ускользящий воздух и выпучив глаза.

Не знаю, как долго продлилось это состояние – пять секунд, шесть или даже все семь. Но на самом пике смертельного ужаса ко мне вдруг вернулось дыхание. Не поверив в чудесное избавление, я попытался сделать осознанный осторожный вдох – и он получился! Удались и последующие вдохи-выдохи, а вскоре вернулся и голос.

Рисковать с сальто я, естественно, больше не стал, а вот последствия для здоровья боялся. Но вот, я прожил жизнь, перенёс кучу болезней, но щелчок в шее, к счастью, так и остался всего лишь щелчком. А об этом происшествии я сейчас рассказываю впервые.

В общем же и целом мы с братиком жили в согласии. Совсем без конфликтов, разумеется, не обходилось, но это были лишь мелочи.

Например, я повесил на двери такое объявление:

«Продаётся уценённый Олег. С одеждой 40 рублей, без одежды 1 рубль».

Или вот, когда братик очередной раз обделался, я написал родителям письмо, которое так и называлось:

«Кляуза.

Довожу до вашего сведения, что мой брат Олег провонял в дрезину. Срочно примите меры!»

А однажды он, когда я лежал на матрасе и не пускал его туда беситься, подошёл и треснул мне молотком по лбу. Несильно – какая в таком возрасте сила. Обошлось.

Ещё про братика

Три удивительных истории.

История первая. Братiku было года три, наверное. Он гулял во дворе, мама привела его домой, пошла к себе в комнату переодеваться, но странное предчувствие заставило её вернуться. Она вдруг вспомнила, что брат с порога отправился напрямиком на балкон. С чего бы это? На балконе она застала сыночка, вскарабкавшегося со стула на перила. Одну ногу он уже поставил туда, а вторая пока висела в воздухе с этой стороны. Мама успела схватить его буквально в последнюю секунду. Как объяснил сам брат, он увидел у соседей прогуливавшуюся по балконным перилам кошку и решил тоже так прогуляться. После часовой лекции, которую ему прочитала мама, на риторический вопрос, будет ли он ещё так делать, он ответил: "Ещё раз попробую, и больше не буду". Но пробовать всё же не стал.

История вторая произошла сразу же после переезда на новую квартиру. Брат, а ему было тогда лет семь, надоедал мне тем, что постоянно слонялся за мной, что на улице, что дома. Уединиться было совершенно невозможно. Однажды я заперся от него на кухне. Он не нашёл ничего лучшего, как попытаться открыть дверь с разбегу. Разбежался, выставил руки вперёд и обеими ладонями врезался в матовое стекло с рисунком, которое было вставлено в кухонную дверь. Естественно, масса кровищи. Я сам был тогда ещё ребёнком и совершенно растерялся. Открыл холодную воду и сунул туда его руки. Прочитанная от корки и до корки медицинская энциклопедия подсказывала, что надо перетянуть руки выше локтя жгутом. Я лихорадочно пытался вспомнить, где у нас находится жгут (а он нигде не

находился, потому что у нас его и не было), как в дверь несколько раз настойчиво позвонили.

Это оказалась соседка сверху. Она преподавала в университете, но в этот день студентов сняли с лекций для какого-то мероприятия, а её отпустили домой. Вот она и пришла раньше времени. Поднималась к себе мимо нашей квартиры и слышала странную возню. Соседка перетянула брату обе руки первыми попавшимися под руку полотенцами, закутала в одеяло и на руках отнесла на вахту ветеринарного института, что напротив. Там вызвали скорую помощь. В нашем доме ни у кого телефона не было, да и весь дом в разгар рабочего дня был пуст. Если б не соседка, брат истёк бы кровью - у него были перерезаны обе вены, естественно, повдоль.

История третья. Брат с другом ездил в Ленинград по делам. На обратном пути на вокзале брат стал покупать билет на поезд, который отправлялся то ли через час, то ли позже. Но кассирша предложила билеты на поезд, что вот-вот отправится. Посадка уже идёт, а бронь так и не выкупили. И он почему-то взял эти билеты. Оба ужасно проголодались после походов, друг стал материть брата на чём свет стоит, потому что перекусить в Ленинграде не получится, надо будет идти в дебильный вагон-ресторан. В Москве они узнали, что поезд, которым они первоначально планировали поехать и который ехал за ними, был печально знаменитым поездом «Аврора», потерпевшим крушение 16 августа 1988 года.

История четвёртая, бонусом на закуску. Брат в ней никак не засветился, она произошла с его другом. Тот возвращался домой в Омск из Краснодара. В аэропорту вылета он ни с того ни с сего напился в хлам, хотя до того крепче пива ничего не употреблял. На посадке в самолёт он устроил самый настоящий дебош. Вызвали аэропортовскую

милицию. Та сняла парня с рейса, привела в отделение и оставила до утра в обезьяннике проспать и протрезветь. Утром появился начальник отделения. Дебошир каялся и умолял отпустить его. Ведь на самом деле никакой он не дебошир и совсем не пьёт. Его дедушка – доктор медицинских наук и профессор, бабушка тоже доктор и профессор, а отец – инженер-изобретатель, у него одних только авторских свидетельств килограмма два, ему Брежнев лично орден вручал. Они живут в профессорском доме в квартире 150м полезной площади. Он даже и не понимает, что на него вдруг такое нашло.

Начальник милиции сказал, что Рабинович быстро поймёт, что на него нашло, когда узнает, что самолёт, с которого его сняли, разбился в Омске. Знаменитая катастрофа 11 октября 1984 года. Молодого человека отпустили под обещание немедленно позвонить домой и сказать, что с ним всё хорошо.

Контора пишет

До родительской полочки было ещё два дня, а в доме оставался ровно один рубль. И надо же было упросить маму отдать его мне на... пластинку-миньон Аллы Пугачёвой с песнями «Арлекино», «Посидим, поокаем» и «Ты снишься мне».

Пластинку я заслушал до дыр, а потом решил написать Алле Пугачёвой письмо. Помимо обычных комплиментов и восхищений оно содержало просьбу прислать новую пластинку, как только она выйдет. Письмо было старательно написано самым красивым почерком, на который я был способен, с использованием четырёх шариковых ручек разных цветов. Запечатал я его не в простой конверт, а в специальный, подарочный. И крутую марку купил на почтамте. Специально попросил что-нибудь особенное для письма ни кому-нибудь, а самой Алле Пугачёвой.

Обычному почтовому ящику я это письмо не доверил, а отдал его прямо там же, на почтамте, в руки сотруднице, попросив лично проследить, чтобы оно ушло.

Дома я не вытерпел и рассказал братику о письме и о том, что у нас скоро будет новая пластинка Пугачёвой. Братик меня похвалил и даже проникся ко мне некоторым уважением. Но ненадолго: совсем маленький ребёнок, он быстро забыл о моём письме. А я ему и не напоминал, потому что посылки от Аллы Пугачёвой я так и не дождался.

Второе письмо я написал классе в третьем. Отец купил мне за 7 рублей и 70 копеек замечательный конструктор под названием «Электротехника в 200х опытах» (именно так, в орфографии оригинала). Понятное дело, что всё свободное от школы, сна и еды время я ставил эти двести опытов, выучив инструкцию наизусть. В самом конце книги предлагалось из имеющихся в наборе сосудов и

гальванических элементов собрать батарею. Давался и рецепт электролита, которым я в творческом порыве залил несколько частей полированной мебели.

Наверное, детали конструктора не были рассчитаны на такое сверхинтенсивное использование и стали одна за другой ломаться. Это было более чем досадно, и я решил написать письмо на завод-изготовитель с просьбой прислать мне «несколько вышедших из строя деталей» по прилагаемому списку.

В отличие от Аллы Пугачёвой, завод отреагировал. В ответном письме констатировалось, что мой список представляет собой практически полный комплект «Электротехники...», а потому мне предлагалось приобрести в розничной торговле новый конструктор.

Отец прочитал письмо с завода и пообещал купить ещё один такой же набор. Но вот незадача – в упомянутой розничной торговле мы его больше не встретили.

Испытание соблазном

В детстве мне очень хотелось иметь магнитофон, но родители мне его не покупали. Отец – поклонник Анатолия Соловьяненко – боялся, что я буду записывать на него «всякую блатнятину» или музыку, которая «бух-бух – по мозгам бьёт». Поэтому мне приходилось стоять часами в отделе грампластинок, чтобы послушать современные «мелодии и ритмы». Проигрыватель мне разрешили, но после покупки диска хриплого Высоцкого и последовавшего за этим скандала, деньги на пластинки мне выдавали только целевыми платежами – на что-то конкретное.

Как-то по пути в школу я обнаружил в окне цокольного этажа одного из зданий средних размеров переносной магнитофон. Помещение, в котором он находился, представляло собой что-то вроде радиорубки или радиоотдела. Там находилось бессчётное количество проводов, радиодеталей, рычажков, переключателей, паяльников, печатных плат и так далее. На столах стояли радиоприёмники, разные трансляционные устройства. В последующие дни и месяцы я стал наблюдать за движением в помещении. Иногда там кто-то находился, но чаще всего комната была пуста. Детали и устройства меняли своё местоположение, только заветный магнитофон на подоконнике оставался недвижим. И я решил, что он никому не нужен и что я попрошу ни больше ни меньше – отдать мне его.

Своими наблюдениями я поделился с братом. Мы стали делить шкуру неубитого медведя и мечтать, что запишем на наш магнитофон. Однажды мы даже поссорились, когда делили плёнку, которой у нас, естественно же, не было.

Однажды я, как обычно, проходил мимо и увидел, что окно открыто. Возделенный магнитофон стоял всего в каком-то метре от моих ног. Я наклонился и заглянул внутрь.

В комнате никого не было. Я оглянулся. Вокруг – тоже никого. Самое время схватить прибор и унести ноги побыстрее. А дома смотреть на всех победителем. Родителям можно что-нибудь наплести, брату – тоже, а то ещё проболтается. Некоторое время я стоял рядом с предметом моих снов и желаний, но нечто неведомое настойчиво посоветовало мне оставить дурацкую затею.

Я ушёл прочь, снедаемый противоречивыми чувствами.

Больше окно не открывалось, а вскоре родители сами купили мне магнитофон, так как к тому времени я начал увлекаться классической музыкой и родители решили, что Высоцкий нашей квартире больше не грозит.

Но самое интересное заключается вот в чём. То самое окно цокольного этажа, где стоял магнитофон моей мечты, находилось в здании... обкома партии. Ну, знаете, как бывает у детей, которые не в состоянии сложить куски целого в само целое. Так и у меня. Для меня существовал обком с парадным входом и полукруглой стоянкой машин, и существовало это окно. Вместе я их никак не связывал. А представляете, что было бы, если б я таки стащил тот магнитофон и попался? Ведь непременно попался бы, я всегда попадаюсь там, где незаметно прошли тысячи других. Вот был бы номер!

А магнитофон вскоре пригодился для одной безобидной шалости.

Как-то по телевизору показали фильм «Бриллиантовая рука». Кто не знает, в то время в телевизионной программе числился ровно один фильм в день, и хороший фильм становился настоящим событием. В основном же шли производственные драмы, фильмы про любовь секретаря парторганизации завода и ведущей станочницей, где они сидели дома, занимались вместо секса самообразованием и спорили на кухне о методах расточки торсионных валов.

Так вот, я записал через кабель на магнитофон полную звуковую дорожку «Бриллиантовой руки».

Однажды летом я приоткрыл окно и включил погромче саундтрек «Бриллиантовой руки». На улице слышались голоса, дескать, надо скорее домой идти, там «Бриллиантовую руку» показывают. Да, говорили некоторые, в программе её нет, но мы же собственными ушами из какого-то окна слышали, что показывают.

То же самое я проделал с «Кавказской пленницей», а также с отдельными сериями фильмов «Щит и меч» и «Вечный зов». Наблюдать за реакцией прохожих было сплошным удовольствием.

Джек

Джек был чёрно-коричневой дворнягой, собакой жившего в нашем доме старика-дворника. Его собачья жизнь протекала во дворе, где у него было что-то вроде будки. Сам дворник остался в нашей памяти сидящим на деревянном ящике из-под овощей, курящим и смотрящим куда-то вдаль. У его ног непременно лежал Джек.

Я не могу сказать, что именно Джек сделал нам плохого. Не могу сказать, потому что ничего плохого он нам не сделал. Он ни на кого не нападал, ни разу никого не укусил и даже не сделал вид, что хочет сделать это. Но тем не менее, у нас считалось не просто хорошим тоном, а обязательной программой дня разозлить, раздражить его, причём чем более жестоко, тем лучше. Однажды мы испытали особый кайф, доведя собаку до белого каления. При этом мы залезли на сетчатый забор с мини-колоннами, окружавший двор, и смотрели вниз, как беснуется Джек. Он бегал туда-сюда с диким лаем, причём нам наверху казалось, что он умудряется как-то разворачиваться прямо в воздухе. Как только его ярость начинала ослабевать, кто-то из нас подливал горячего, снова раззадоривая Джека то ли палкой, то ли ногой, чуть спустившись по сетке и создавая собаке иллюзию доступности.

Таких эпизодов было много. Всех я не упомяну, да и рассказывать о них нет никакого смысла - они были один глупее другого и отличались только по уровню изощрённости издевательства. С течением времени, количество перешло в качество. Мы стали на полном серьёзе обсуждать планы по отравлению Джека. Когда речь дошла до конкретики, выяснилось, что настоящий, действенный яд без запаха достать невозможно. И тогда родилась кошмарная идея купить колбасы (тогда она ещё продавалась, хоть и не в таком

разнообразии), нашить её булавками и иголками и скормить это блюдо Джеку. Идея была принята с огромным воодушевлением единогласно.

По какой причине этот план не был воплощён в жизнь, я не помню. То ли испугались реакции дворника - хозяина Джека, то ли вдруг пропало желание что-то делать, как только дело дошло до дела, хотя, вроде как, и иголки с кнопками собрали, и время выбрали (долго наблюдали, когда дворник у себя дома, когда он выходит во двор, когда убирает территорию и так далее). И вроде никто не отказывался, просто план как-то сам собой не сбился, а потом про него совсем забыли. Что вовсе не повлияло на интенсивность гонений на Джека.

Ещё я помню, что кто-то из нас с наиболее представительным голосом вызвал по телефону службу по отлову бездомных собак. Хотя дело и было сибирской зимой, дворник выбежал в одних трусах и майке и вытащил Джека в буквальном смысле из петли. А мы стояли неподалёку и ржали в десять голосов.

Однажды я пришёл во двор, когда там никого ещё не было. Не вернулись пока со школы, не поели, уроки не сделали. Я решил пересечь двор, но в какой-то момент заметил, что нахожусь буквально в двух метрах от лежащего в теничке Джека. Не заметил я его. Я оторопел. О бегстве не могло быть и речи, так как ноги (да и не только ноги) словно одеревенели. Джек поднял голову и, как мне показалось, зло посмотрел на меня. Хотя он не мог смотреть на меня ни зло, ни добро, никак. Я продолжал таращиться на него, а он оскалил зубы, торчащие из чёрных дёсен, порычал пару секунд, а потом снова улёгся. Ко мне вернулись силы, и я убежал. Только через много лет я понял, что это было: я не от него, а он ждал от меня какой-нибудь пакости. Он вовсе не питал ко мне зла, хоть и дразнил я его не на шутку и с профессиональным размахом. Просто Джек своим рычанием решил превентивно показать мне, что он

против, чтобы его дразнили. После того, как он убедился, что ему ничто не грозит, он снова заснул. Так что Джек был совершенно безобиден.

А сейчас я скажу, к чему я всё это пишу. Дело в том, что всегда, буквально всегда, во время всех издевательств над Джеком, в нескольких метрах от происходящего мирно прогуливались родители тех, кто тыкал в собаку колючей палкой, которая вообще могла поранить её до крови. И максимум, что эти благопристойные родители говорили, это нечто вроде «осторожнее, тебя собака может укусить», «а вдруг он бешеный?». И в планы по отравлению Джека и в планы с иглками многие родители, пусть и не все, были посвящены. Но они не отговаривали, не останавливали, не препятствовали. Для них это было чем-то нормальным, как и для их детей.

Охота прекратилась внезапно. Поколение охотников выросло и нашло себе новые развлечения, а дальше шла локальная демографическая яма. Таким образом, достигшая почтенного возраста собака успела спокойно окончить свои дни до того, как подросшие новые первоклашки смогли бы соорудить для неё палки с обрывками колючей проволоки на конце.

Давно уже нет на свете ни Джека, ни дворника, ни многих тогдашних друзей-приятелей. Но вот один вопрос никак не даёт мне покоя: почему родители позволяли своим детям быть такими жестокими?

Педофилы

1.

Мне было лет десять. Как-то я пошёл в магазин за молоком и ещё в очереди в кассу обратил внимание на высокого мужика лет пятидесяти, который стоял прямо у входа снаружи и, видимо, кого-то ждал. Этот кто-то, вероятно, должен был вот-вот появиться, так как мужик внимательно смотрел внутрь магазина и не курил. Я купил молоко и вышел на улицу. Вернее, едва успел выйти, так как моя рука оказалась схвачена железной клешней. Этой клешней была рука того самого мужика, который, как выяснилось, наблюдал за мной, пока я наблюдал за ним. И именно я и никто иной и был тем, кого он подкарауливал.

Он спросил, как меня зовут. Я был настолько ошарашен происшедшим (не испуган, а именно ошарашен), что не смог ответить. Тогда он потащил меня по улице, крепко держа за руку (у меня потом на ней синяк появился).

— Куда мы идём? - робко поинтересовался я, но мужик не ответил, а продолжал свой путь.

Я повторил вопрос.

— Скоро увидишь, — последовал ответ.

Я принялся лихорадочно прорабатывать планы побега. Почему я не закричал, сам не знаю. Тогда я был словно сам не свой. Но больше всего меня интересует не это, а то, почему мужик был так уверен, что я не закричу? Неужели у него уже был соответствующий опыт? Короче, кричать я не стал, хотя ясно, что в этом случае мне обязательно пришли бы на помощь.

— Зачем я вам нужен? - трясущимися от страха губами и пересохшим языком пролепетал я.

— Всё будет хорошо, — услышал я в ответ, — ты, главное, не дёргайся. И ничего тебе не будет.

Спасение пришло внезапно. Навстречу нам шли несколько солдат. Они что-то увлечённо обсуждали, не обращая внимания на окружающих, так что, когда мы поравнялись, один из них со всего налёту столкнулся с державшим меня мужиком.

— Ты чё, совсем сдурел? Не видишь, куда прёшь? — заорал мужик на парня.

Хватка ослабла лишь на какое-то мгновение, но мне этого было достаточно. Бросив сетку с молоком на тротуар, в весеннюю слякоть, я бросился наутёк, но не домой, а в совершенно противоположную сторону, чтобы запутать следы. Неподальёку располагался универмаг, его здание было как бы прислонено к холму в центре города. Получалось, что здание имело два входа — сверху и снизу. Это обстоятельство мы частенько использовали для игры в казаки-разбойники. Туда я и вбежал снизу, выбежал сверху и окольными путями добрался до дому.

Маме я сказал, что бежал от привязавшихся мальчишек, а молоко потерял по пути. Правду я рассказал ей лишь тридцать пять лет спустя.

2.

В СССР любили всё подгонять к каким-нибудь датам, съездам или пленумам. Например, нас в школе гоняли убирать листья в сквере перед тем, как снег окончательно ляжет. И обязательно говорили, что это к празднику 7 ноября. А весной, когда снег сходил, снова гоняли убирать сквер, на этот раз - вылезший после схода снега мусор. Считалось, что это как коммунистический субботник к днях Ильича. Владимира, естественно, а не Леонида.

В восьмом классе уборка сквера подзадержалась. Снег вроде как сошёл, прошло и 22 апреля. Казалось бы, пронесло, но наш класс всё же отправили на расчистку сквера.

Мы с одноклассником Андреем вооружились граблями и метлой и поплелись вслед за всеми.

Участок нам двоим дали самый замусоренный, у дороги. Андрей первым делом снял куртку и повесил её на забор-штaketник. Мы быстро справились с заданием, выскребли окурки, коробки из-под сигарет и спичек, банки, бутылки, бумажки со следами экскрементов и всё, что прохожие набросали в снег за полгода.

— Зря мы так быстро всё сделали, — сказал я. — Теперь заставят девчонкам помогать.

Это был известный с "картошки" феномен. Каждому на поле выделяли борозду, которую надо было прополоть или убрать. Девчонки тут же переворачивали свои вёдра, садились на них и чесали языками всё время. А когда ты был готов со своей грядкой, тебя посылали «помогать отстающим, ведь все мы хотим закончить пораньше, да?». Вот и получалось, что ты делал две нормы - за себя и «за того парня», в смысле, «за ту девчонку».

Так и на этот раз: не успел я сказать про девчонок, как тут же нарисовалась классная руководительница.

— Так, а тут что стоим?

— Мы уже всё убрали.

— Да? А, хорошо. Вот видите девочек? Давайте быстро им помогите. Пока всё не закончим, домой никто не уходит!

— Ну, начинается, - пробурчал я.

— А ты не нукай, - сказала учительница и продолжила, обращаясь в другую сторону: — Так, девочки, сейчас мальчики придут вам помогать, слышали?

— Ты как хочешь, а я срываюсь, — сообщил Андрей. "Срываться" в нашем тогдашнем лексиконе означало сбегать с уроков или мероприятий.

— Как это? — удивился я. — Она ж нас засекала.

— Её уроки у нас – на следующей неделе, — сказал Андрей. — До того времени она уже давно всё забудет.

— Так портфели же остались в классе! — воскликнул я.
— Она их там заперла.

В ответ Андрей торжествующе снял с заборчика куртку. Под ней была спрятана папка, с которой он ходил в школу. Да, все ходили с портфелями, а он — с пижонской папкой. В сквере он спрятал её от посторонних глаз.

— Под курткой спрятал и вынес, — пояснил он. — Ты тоже мог бы портфель так прихватить.

— Портфель? — удивился я.

— Да, — ответил Андрей, натягивая куртку. — У тебя тулуп ямщицкий. Там три портфеля поместятся.

— Под мышкой что ли его нести?

— Зачем под мышкой? Берёшь портфель, суёшь его под тулуп, рука как бы в кармане, а через карман и портфель за ручку держишь. Вот и всё.

— Хорошая мысль приходит опосля, — с нескрываемой досадой сказал я.

— И что характерно, — Андрей очень любил эту фразу и произносил её всегда с поднятым указательным пальцем, — мысль пришла мне, а не тебе. Ну, всё. Метлу с граблями сам обратно донесёшь. Пока.

И исчез. Помогать девчонкам мне не улыбалось из принципа. И вообще я так разозлился на себя, что не догадался спрятать под полый тулупа портфель, что решил тоже свалить. Тихонько, не привлекая общего внимания, я дошёл до края сквера и юркнул за угол. Появилась проблема: чем заняться всё это время, пока портфель был заперт в классе. Я решил пойти в магазин "Музыкальные товары", что располагался в нескольких автобусных остановках. Это был единственный в городе магазин с нормальным отделом пластинок с классической музыкой. Туда я ходил минимум два раза в неделю, вдруг появится что-нибудь редкое и интересное.

Но на этот раз ничего такого там не было. Я лениво прошёлся по отделу, и мне стало очень жарко. Кстати, за это я

«Музыкальные товары» и недолюбливал. Там даже в мороз было натоплено, и задержаться надолго в зимней одежде не получалось, а в такой тёплый день – тем более. Направляясь к выходу, я безо всякой цели остановился на пару секунд у стеллажа с операми и пошевелил коробку с какой-то оперой Верди.

— Интересуешься Верди? - услышал я чей-то голос.

Я обернулся. Рядом стоял какой-то мужик, совсем не старый, лет тридцати пяти, наверно. Обычное лицо, широкая улыбка.

— Да нет, не очень, — ответил я. — Так, немного.

— У тебя фонотека большая? — спросил он.

— Ну...

— Ну – это сколько?

— Полторы сотни пластинок.

— И какая тематика?

— Разная. Всё подряд, кроме духовых инструментов.

— Понятно. А оперы собираешь?

— Специально не собираю, — сказал я. От мужика шли какие-то неприятные флюиды, и я начинал его побаиваться. К тому же не каждый день с тобой заговаривают неизвестные мужики. Я извинился, сказал, что мне нужно идти, вышел из магазина и пошёл на остановку.

Подошёл автобус. Я поднялся в заднюю дверь, оторвал билет и только протиснулся на своё любимое место в самом конце, в углу между стеклом и задней дверью, как вдруг снова увидел перед собой мужика из магазина.

— У меня дома, — продолжил он, — есть полная коллекция записей опер Верди. Даже редко исполняемых. Причём в нескольких исполнениях.

— Я Верди не интересуюсь, — сказал я.

— Как не интересуешься? А в магазине сказал, что не много интересуюсь.

Я промолчал.

— У меня целая комната занята одними только пластинками, — сообщил мужик. — Представляешь? Там чего только нет. Я каталог веду, все, что новое появляется, туда записываю. Хочешь посмотреть? Это недалеко.

— Нет, спасибо, — ответил я.

— А зря, - настаивал он. — Ты даже не представляешь, что я тебе ещё могу показать. Ты такого никогда не видел. Оперы – это хорошо, очень хорошо. Но это ерунда. У меня есть кое-что получше. Ты обязательно должен это увидеть.

Я даже боялся поднять глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, но чувствовал, что он смотрит на меня, как удав на кролика. Конечно, я мог закричать. Теоретически. Потому что практически не мог выдать ни звука. Я держал руки на горизонтальных поручнях. Между рукавами тулупа и овчинными рукавицами проглядывали запястья. Мужик вдруг стал водить по ним своими пальцами - туда, сюда, туда, сюда, словно трогал гитарные струны.

Из оцепенения меня вывел грубый женский голос.

— Так, тут билетики предъявляем!

— Проездной, — зло огрызнулся мужик, не поворачивая головы.

— Проездные тоже предъявляем!

Мужик извлёк проездной и показал его тётке, всё так же не отворачиваясь от меня.

— Здесь билетики показываем! - обратилась контролёрша ко мне.

— Нету у меня билета, - неожиданно для себя сказал я.

— Как это нету? — удивился мужик. — Ты ж его покупал, я сам видел.

— А вот так нету, — настаивал я.

— Так, а ну-ка вылезай оттуда! — приказала контролёрша, а мне только это и было нужно. — Иди сюда. Опять ты попался! Вот теперь я тебя точно в милицию сдам.

— Почему «опять»? — возмутился я. — Я ни разу ещё вам не попадался, я вообще на трамвае езжу, у меня даже проездной на трамвай есть.

— Трамвайные проездные в автобусе недействительны, — напомнила тётка.

— Я знаю, я только хотел сказать...

— Да помню, помню я тебя. Как уж не запомнить. В белой овчине и в коричневой шапке. Ты и есть. Ездишь тут разъезжаешь, гоняешь туда-сюда. Щас, выйдем на остановке, я тебя в милицию сдам. Всё, наездился, путешественник.

Автобус подъехал к остановке. Я снял одну рукавицу, вытащил билет и показал контролёру.

— Так а какого ты мне голову морочишь, а? — начала она, но тут дверь открылась, я выскользнул из автобуса и спрятался за стоявшим тут же газетным киоском.

Я видел, как контролёра тоже вышла из автобуса и стала ждать следующего. Мой автобус закрыл двери и поехал. Как я ни вглядывался, того мужика я в окне не увидел. Вдруг кто-то потянул меня сзади за пояс, и я услышал знакомый голос:

— Да что ты от меня бегаешь-то?

Я обернулся. Это был он. С той же мерзкой улыбкой.

— Не трогайте меня! — громко сказал я.

— И не думаю, — ответил он, картинно подняв руки.

— Думаете, — возразил я. — Тогда в автобусе, и сейчас тоже. Что вы от меня хотите?

— Я от тебя? — удивлённо переспросил он. — Да ничего. Ничего я от тебя не хочу. Наоборот, я хочу кое-что показать тебе, что ты никогда ещё не видел.

— Оперы Верди?

— Ну, и их тоже, да. Но не только. Послушай, я ж тебя не в лес тащу. Ты ж увидишь улицу, дом, квартиру. Это ж ты от меня прячешься, а я от тебя прятаться не собираюсь. Пойдём, а? — он стал осторожно приближаться, и я снова почувствовал первые признаки оцепенения.

— Я закричу, — выдавил я из пересохшего горла.
— Я тебе ничего не делаю, — спокойно сказал мужик,
- и не сделаю. Я хочу тебе только хорошее.
— Почему именно мне?
— Я тебе это обязательно объясню, только не здесь, не
на улице. Не надо на улице, ладно?
Он продолжал приближаться.
— Ваш автобус идёт, — кивнул я в сторону остановки.
— Что?

Мужик машинально обернулся, и я воспользовался мгновением, чтобы выскочить из-за киоска на тротуар и отбежать на безопасное расстояние.

— Ты ещё очень глупый! — почти крикнул он мне. — Ты не понимаешь, что ты сейчас только упустил!

Я ничего не ответил и побежал в школу.

Двери школы были открыты. Только я сделал несколько шагов к лестнице, как меня окрикнула вездесущая уборщица, говорившая всегда строго на украинском языке.

— Стой! Куда собрался? — спросила она, естественно, на украинском. — Я там только что вымыла.

— В кабинет математики. Я там портфель забыл.

— Портфель забыл? Это как это так?

— Ну, пошёл домой после уроков, уже к дому подходил и вспомнил, что портфель в классе остался.

Уборщица достала из гардеробной мой портфель.

— Фамилия как?

Я назвал. Она открыла портфель и достала оттуда подписанную тетрадку.

— Ага, точно, — и уже намного мягче продолжила: — Вот, закрывала класс и увидела. На полу стоял. На, бери. И больше не теряй. Это надо ж - портфель забыть!

— Спасибо! — Я схватил портфель и побежал к выходу.

Когда я пришёл домой, то вдруг почувствовал дикий голод. В холодильнике была еда, но её надо было либо готовить, либо разогреть. В хлебнице лежало полбулки

белого хлеба. Я тут же впихнул в себя весь хлеб и запил пакетом кефира. Только тогда меня отпустило. Я понял, что дома не осталось хлеба, да и ежедневный поход за молоком никто не отменял. Надо было идти в магазин. В этот момент заворочался ключ в двери, и вошла мама.

— Ты только пришёл? - удивилась она.

— Да, - ответил я. — Нас сквер гоняли чистить. Я за молоком как раз собрался. Зашёл домой сумку и деньги взять. И хлеба надо купить.

— Хлеба там полбулки ещё есть, — сказала мама.

— Нет там хлеба, — возразил я. — Ни крошки. Только что смотрел.

— Хм, вроде бы был там хлеб... Ну, ладно, купи тогда ещё и хлеба.

В школе последствий не было, про нас и не вспомнили.

В магазин "Музыкальные товары" я потом не ходил полгода, наверное.

В жизни я не послушал ни одной оперы Верди, и вообще сильно охладел к операм.

3.

Со школы домой я обычно возвращался на троллейбусе. Ехать мне было всего одну остановку, хоть и очень длинную. Сейчас, наверное, такие расстояния не положены по нормативам, но в те времена даже в крупных городах расстояния между остановками общественного транспорта запросто могли составлять километр или два.

Моя остановка была длиной ровно в километр. Погода была хорошая, настроение – тоже, так что эту остановку я решил пройти пешком.

Я успел пройти не более сотни метров, как рядом со мной возник парень возрастом сильно за двадцать. Спросил, как меня зовут. От неожиданности я ответил. Затем последовала целая серия странных вопросов, буквально в

стиле «вы в самостоятельности участвуете?» Я и отвечал в стиле Семён Семёныча Горбункова, вот только его грозного гипса на руке у меня не было. Всё это время я пытался угадать, что из всего этого выйдет и каким образом закончится. Одно я решил точно: как только дойдём до микрорайона, я говорю, что пришёл домой, иду в первый попавшийся подъезд (они тогда на замки не закрывались), сижу там и жду, пока он уйдёт.

Но развязка наступила значительно быстрее. Там, где сейчас проходит мост через Иртыш, тогда располагался гигантский, заросший трёхметровой травой пустырь. Дома там снесли, чтобы очистить место под строительство моста, которое никак не начиналось. Пустырь огородили высоким деревянным забором, который, с течением времени, обзавёлся множеством проломов, дырок и сдвигающихся досок. За забором я ни разу не был, но храбрецы туда иногда забирались и по возвращении рассказывали об увиденных там странных предметах, валявшихся в зарослях полины алкашах, загадочных шорохах и наводящих ужас голосах. Иногда найденные предметы пацаны приносили с собой. В общем и целом, как я сейчас думаю, этот пустырь был пристанищем алкашей, наркоманов, бомжей, извращенцев и просто чокнутых искателей приключений.

Стоило нам поравняться с началом забора, как парень начал толкать меня в сторону ближайшего пролома. Я стал сопротивляться. Парень сначала угрожал, обещал выследить меня в школе или около дома. Потом вдруг подобрел, стал говорить, что ничего плохого он мне не сделает, что я скоро сам увижу, что мне ничего не грозит, и что мне там, за забором, на пустыре обязательно понравится.

У меня сдали нервы. Я стал отбрыкиваться и сорвался на крик. Парень тут же отпустил меня, назвал дураком и юркнул за забор.

Я и потом частенько возвращался домой пешком, но совершенно другим маршрутом.

Манякин

С 1961 по 1987 год первым секретарём Омского обкома партии был Сергей Иосифович Манякин, установивший абсолютный рекорд СССР по продолжительности пребывания на такой должности. В народе он был популярен, любим и уважаем, причём заслуженно: на время его правления и во многом благодаря ему Омск и область пережили единственный за всю свою историю расцвет. Манякин делал всё от него зависящее, чтобы город был как можно менее тошнотворным. В восьмидесятые, когда в стране буквально всё пошло под откос и стало рушиться, ухудшения в Омске не ставили Манякину в вину, потому что понимали – не может быть так, чтобы повсюду суббота, а у нас – четверг. И тем не менее, область и город обошлись без талонной системы, мясо на базарах было по 3,50. У соседей то и другое было совершенно немыслимо, так как было следствием манякинской политики развития подсобных хозяйств, теплично-парниковых комбинатов и разных пригородных совхозиков со странным статусом.

В нашей школе, на класс младше, учился мальчик по имени Игорь Манякин. Каждому, кто задавал ему логичный вопрос, он терпеливо объяснял, что он всего лишь одноклассник. Свои слова он подтверждал убийственным аргументом, что живёт он вовсе не в соседнем со школой и знаменитом на весь город «Манякинском доме», а в сталинской пятиэтажке остановок за пять отсюда, на шумном проспекте. Ему верили, но с неохотой. Больно уж фамилия редкая, а для Омска – совершенно нетипичная. И даже если и не верили, то оставляли в покое, потому что видно было, как не нравятся ему такие расспросы.

И вот однажды летом нам назначили так называемую «отработку», когда надо было неделю ходить в школу и

выполнять разные задания вроде протирки и чистки учебных пособий, рисования плакатов и всего такого прочего. Меня прикрепили к химичке. Она дала мне какое-то задание, сама находилась тут же и перебирала документы. И в процессе она таки проговорила, что Игорь Манякин – родной внук Того самого. Когда она спохватилась, было уже поздно: слово – не воробей. Я тут же задал вопрос, почему Игорь не живёт в «манякинском доме», на что она резонно ответила, что сын Манякина – отец Игоря – вовсе не обязан жить в том же доме и, тем более, в той же квартире, что и Сам. Потом под предлогом того, что я уже взрослый и должен уметь контролировать свою речь (хотя как раз она-то её и не то, чтобы очень уже контролировала, как видно), взяла с меня клятву, что я никогда не проговорюсь о том, что услышал, и никогда не дам Игорю понять, что знаю его тайну. Клятву я дал, так как ничего другого мне и не оставалось.

Буквально на следующий день понадобилось принести в школу новые учебные пособия из магазина на берегу Иртыша, который так и назывался: «Учебные пособия». Школа купила там что-то по перечислению, надо было просто прийти и забрать. И вышло так, что отправили туда нас вдвоём: Игоря Манякина и меня. Дорога в одну сторону занимала минут сорок, наверное, а обратно – ещё дольше, потому что приходилось делать остановки-передышки. Мы болтали о том и о сём, а про что – я и не помню, и я так и не сказал ему, что знаю то, что знать не должен. Чем страшно горжусь до сих пор.

Молоко

Медики говорят, что во взрослом возрасте у человека исчезает фермент, ответственный за расщепление молока. Мой покойный отец, наверное, так никогда и не повзрослел, так как пил молоко литрами. Брал литровую кружку, наполнял её молоком и растворял там каким-то образом по семь столовых ложек сахара. За молоком я ходил в магазин каждый день и покупал там по пять бутылок. Кроме отца, молоко в доме не пил никто. Я его и в детстве-то особо не переносил, маму я тоже ни разу не видел со стаканом молока в руках, а про брата и говорить нечего.

Однажды я решил устроить себе выходной и купил сразу десять бутылок, полагая, что их хватит на два дня. Наивность моего плана стала очевидной уже поздним вечером, когда при инвентаризации я обнаружил на кухне всего две полных бутылки и остатки третьей. Каким образом можно влить в себя за день почти четыре литра молока, в голове не укладывается до сих пор.

Назавтра я, как в том анекдоте про хомяка, купил 20 бутылок. Очередь повозмущалась, но после заверения продавщицы, что всем хватит, успокоилась. Я сложил бутылки в предусмотрительно припасённую большую сумку и только тогда осознал, что выполнил только часть задачи. Теперь надо было дотащить покупку до дома.

Как-то я выволок сумку из магазина, а дальше... Дальше оказалось, что если идти совсем близко к зданиям, то можно пинать сумку, а она будет катиться по тонкой корочке льда, не затронутой палящим весенним солнцем. Так, короткими пинками, я и передвигал сумку, перенося её через прогалины. До сих пор помню, как я обливался потом: было уже совсем тепло, а я, воодушевлённый проектом, отправился в магазин сразу после школы, в душевной

школьной форме, в тулупе и слезающей на нос огромной шапке из неизвестного зверя. На руках были рукавицы-шубенки, потому что без них невозможно было переносить сумку – она резала ладонь. Вообще говоря, в наших краях как военные, так и гражданские ходили каждый в своей зимней форме с начала октября и до майских праздников. Как сейчас – не знаю, климат потеплел.

Через большой пешеходный переход мне помогли перенести сумку прохожие. А вот недалеко от дома всё пространство было совершенно свободно ото льда. Пришлось перетаскивать сумку метр за метром.

Помощь пришла неожиданно. Рядом проходил солдат, который, видя моё отчаянное положение, помог мне донести сумку до подъезда. Со ступеньками я справился сам. Он уже ушёл, когда мне стало досадно, что я не отблагодарил его хотя бы одной бутылкой из двадцати.

Покупки хватило на два дня с лихвой, и я решил повторить подвиг.

Всё прошло так же, как и в первый раз. Настолько так же, что я совершенно не удивился, когда снова увидел на том же месте солдата, хоть и другого. Там, где он шёл, буквально вчера ещё было скользко. Но дворник расколол остатки льда, а весенняя теплынь превратила их в мокрую кашу. Я успел посмотреть солдату в глаза и даже улыбнуться ему, как он вдруг пнул своим сапожищем снежную кашу, обдав меня с головы до ног. Одежда моя от этого совершенно не пострадала, но вот такой факт..

Солдат ехидно ухмыльнулся и пошёл дальше. Почему-то мне было нисколько не обидно. Наверное, у него был плохой день, кто знает. Я посмотрел ему вслед. Нет, он не поскользнулся на моих глазах и не упал, потеряв шапку и смешно запутавшись в шинели. Может, как раз потому, что я на него не обиделся?

А молоко я дотащил и без посторонней помощи.

Октябрёнок, пионер, комсомолец

Так как в детский садик я не ходил, то первый раз с системным враньём познакомился в школе после приёма в октябрюта. Принимали туда просто: построили, раздали звёздочки и всё.

У октябрют были так называемые «правила»:

Октябрюта – будущие пионеры.

Октябрюта – прилежные ребята, любят школу, уважают старших.

Только тех, кто любит труд, октябрютами зовут.

Октябрюта – правдивые и смелые, ловкие и умелые.

Октябрюта – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.

За исключением первого правила, всё остальное было враньём, потому что излагалось как факт, в настоящем времени и изъявительном наклонении. На самом деле я не видел в своих одноклассниках и в себе самом ни второго, ни третьего, ни четвёртого, ни пятого. Большинство не любило ни школу, ни старших, ни труд. Никакой дружбы и веселья не было и в помине, все отсиживали четыре урока и тут же разбегались по домам. Про правдивость я вообще молчу, потому что все читали эти лживые правила и даже не пытались возражать.

В пионеры записали тоже без особых хитростей. Заставили выучить клятву пионера, которую надо было повторять хором на линейке во дворе школы. Галстуки и значки надо было принести с собой. Старшеклассники подходили и повязывали всем галстуки, значки мы прикрепляли сами. Тут же выучили двестише:

*Как повяжешь галстук, берегись его:
Он тебя задушит ночью одного.*

В школе висели плакаты «Пионеры на марше», где рассказывалось о разных важных и интересных проектах Всесоюзной пионерской организации имени Ленина:

*«Моя Родина – СССР»
«В страну знаний»
«Мир и солидарность»
«Пионерстрой»
«В мире прекрасного»
«Сильные, смелые, ловкие»
«Тимуровец»
«Звездочка»*

В каждом разделе объяснялось содержание проекта, причём давалось оно тоже в настоящем времени изъявительного наклонения, то есть, как факт, имеющий место здесь и сейчас. Расписывалось всё так увлекательно, что я не мог дожидаться, пока меня примут в пионеры и доверят участвовать в чём-нибудь важном и интересном. Поэтому я несказанно удивился, что уже в качестве пионера не нашёл в нашей внеклассной деятельности ни малейшего следа таких важных дел. Я подошёл к завучу по воспитательной работе и спросил, где и как конкретно я мог бы участвовать в каком-нибудь из перечисленных проектов. Та не нашлась что ответить и промямлила какую-то фигню, ясно дав понять, чтобы я не пристаивал больше к ней с такой чепухой.

Стало понятно, что все эти замечательные проекты существовали только на плакатах. На самом деле вся пионерская деятельность ограничивалась сбором металлолома раз в год, как в мультике про Чебурашку.

В принципе, каждый, чьё детство пришлось на махровые советские времена, подтвердит, что как ему, так и его одноклассникам было наплевать на коммунизм, партию, комсомол, пионерию и октябрю. Дружили, враждовали, дрались, мирились, менялись этикетками и картинками, слушали пластинки и магнитозаписи, курили, выпивали, нюхали, трахались, воровали, готовились к чему-то там, врал и просто жили. Никто никаким коммунизмом не заморачивался. Радовались, если очередная маршировка и репетиция праздника песни и строя спасали от очередной контрольной по математике. К счастью, подавляющее большинство мероприятий проводилось в урочное время.

Но внешне всё это выглядело так, что мы на самом деле все такие идеологически продвинутые и морально устойчивые. От школьной пионерской линейки до Кремлёвского дворца съездов – отовсюду в настоящем времени изыскательного наклонения утверждалось как факт, что подрастающее поколение продолжает нести знамя революции, что отцы и деды могут быть уверены – их дело в надёжных руках, что советская молодёжь чтит подвиг дедов и завоевания революции, сохраняет и приумножает эти завоевания и всё в таком роде. Как мы знаем, на самом деле молодёжи подвиги и завоевания дедов были до одного места.

И меня всё время интересовало, неужели взрослые реально верят во всю эту пургу, которую несут? Неужели у них нет своих детей и внуков, по которым бы они видели, насколько им всем всё равно? Или они как в фильме «Курьер»: «Я смотрю телевизор и хорошо знаю современную молодёжь»?

Уже после школы я подрабатывал концертмейстером в детском хоре. Репертуар состоял из бесконечных песен про пионерскую дружбу, «нашу родину – революцию», сигнальщиков-горнистов, а также про «школьные годы чудесные», чутких и отзывчивых учителей (на этом месте вспомнил Снежану Денисовну из «Нашей Раши»),

которым некогда стареть и которые проводят до угла, когда уйдёшь со школьного двора, про весёлое пионерское звено и про светлые школьные классы, из окон которых видны дальние дали (тут вспоминается советский детектив, где герой Александра Калягина говорит: «Он сидит так высоко, что из окон его кабинета виден Магадан»).

И если разные революции остались далеко в прошлом и воспоминания о них давно стали ритуалом, когда просто произносится зазубренный текст, за годы лишившийся всякого смысла, то тема школы меня очень занимала. Ведь я сам тогда по возрасту недалеко ушёл от неё. После её окончания я лет пять или семь просыпался с радостной мыслью, что мне никогда больше не придётся туда идти. Как одноклассники (за некоторым исключением), так и учителя из песен-сказок остались в памяти безымянным пятном. Из всех учителей по имени-фамилии-отчеству вспоминаю лишь нескольких, по какому принципу они запечатлелись, сам не понимаю.

Кроме отвращения, школа дала мне массу совершенно ненужных знаний, которые с годами забылись совершенно, зато не научила тому, что потом могло бы пригодиться. По английскому у меня были сплошные пятёрки. Когда иностранец в московском книжном магазине спросил меня, в каком отделе продаётся схема метро, я хотел ответить, что она в метро же и продаётся, а не в книжном магазине. Хотел ответить, но не смог. На языке вертелось лишь «Москоу из зе кэпитэл оф совет юнион». Хотя совсем уж неспособным к иностранным языкам назвать меня нельзя: я свободно говорю на немецком, очень хорошо на испанском. Наверное, потому, что ни одному из этих языков меня в школе не учили.

Можно долго вспоминать дебилские мероприятия, политинформации, линейки, построения, праздники песни и строя, «сочинения» и ответы у доски из фраз-шаблонов, схемы передвижения войск в войнах трёхсотлетней

давности и испоганенные школьной программой литературные произведения (Пушкина я начал читать в пятьдесят лет, до того был стойкий иммунитет, как после прививки от оспы), моббинг среди учеников и так далее.

Мало того, что школа только и делала, что учила вранью и двуличию, так и фильмы, песни и книги о самой школе рекурсивно тоже были сплошным враньём и двуличием. Что в школьное время, что после него я не встретил ни одного человека, который испытывал бы к этому заведению воспевавшиеся детскими хорами и описываемые в книжках чувства. Ну, это же враньё! Не было никакого пионерского задора, а была принудилровка. Не было никакой пионерской деятельности и весёлых звеньев, а были только отчёты на бумаге. За редчайшим исключением, не было никаких мудрых наставников-учителей, а от всей этой школы очень многих тошнило трёхметровым фонтаном. Как тех, кто сидел за партами, так и тех, кто занимал учительский стол. А главным было то, что к тотальному вранью настолько привыкли, что даже не задумывались о том, что кругом враньё. Положено было по ритуалу изображать радость и счастье, вот и изображали. Целыми днями слушали враньё, а когда подходила очередь — открывали рот и врали сами. С самого детства. Каждый на своём месте — дома, на работе, на улице или в детском хоре — был живым персонажем романа Владимира Сорокина «Норма».

Дети изображали идейных пионеров и октябрат. Пре-старелые дяди и пышногрудые тётки в президиумах и зрительных залах делали вид, что принимали враньё за чистую монету. Но страшнее всего то, что дети прекрасно понимали: взрослые знают, что дети врут, и поощряют это.

Однажды нас несколько дней после уроков гоняли на близлежащий стадион репетировать строем пионерский парад к какой-то дате. Дата наступила как-то совсем быстро. Про неё я вспомнил лишь войдя в то утро в школу.

Значительная часть учеников была в так называемой «пионерской форме» – в специальных особо белых рубашках и красных пилотках. Кстати говоря, такой у меня и не было. Помимо меня, в классе лишь официально освобождённые от парада были в обычной школьной форме.

В тот день было всего два или три урока, после чего нас повели на парад. Естественно, что тут же привлёк внимание старшей пионервожатой.

— Это ещё что такое?! — завизжала она.

— Я не знал, что праздник сегодня, — попытался оправдаться я.

— Надо ж, какой идиот! Бестолочь, тупица! — продолжала пионервожатая. — Тебя надо было с уроков снять и домой отправить переодеваться. Я этот вопрос на педсовет вынесу! Марш домой и чтоб через пятнадцать минут был в пионерской форме!

— Мне до дома ехать сорок минут, — возразил я.

— Да? Тогда вот, — она показала на подъезд соседнего дома. — Тут в квартире... — она назвала номер квартиры, — живёт... — она назвала фамилию мальчика. — Он заболел и не придёт. Иди к нему, скажи, что я тебя послала. Переоденься в его пионерскую форму и чтоб через пятнадцать... чтоб через десять минут нас нагнал. Всё. — Она сделала паузу. — Быстро, я кому сказала! — заорала она.

Я зашёл в подъезд. Подниматься никуда не стал, а лишь подождал, пока процессия с остальными учениками скроется за углом. Вышел и направился домой. Не переодеваться, а вообще.

Дома был отец, железобетонный сталинист, которого удивил мой ранний приход. Я не стал врать и рассказал всё как было.

— Что? — Отец аж выпучил глаза от возмущения. — Знаешь, что ты сделал? Ты сорвал политическое мероприятие. И я тебе скажу, как это называется. Идеологическое

преступление, вот что это. Да-да, самое настоящее. Раньше за такое расстреливали.

Тут я заметил, что он начинает растягивать слова и попытану моргать. Очевидно, он приложился к бутылке за несколько минут до моего возвращения.

— Значит, так, — постановил он. — На следующее родительское собрание я пойду сам, представляю, как там тебя будут песочить, — он так и сказал: "песочить". — А ты завтра, как придёшь в школу, сразу же, слышишь, сразу же подойдёшь к старшей пионервожатой, раскаешься и попросишь прощения. Скажешь, что готов понести любое наказание вплоть до отчисления из школы. — Он не знал, что из школ давно уже никого не отчисляли. — Прямо так и сделаешь. А я потом позвоню в школу и попытаюсь с переговорить с пионервожатой, с завучем по воспитательной работе и с классной руководительницей. И смотри у меня! — Он потряс кулаком перед моим носом. — Я тебя... Чтоб это было в первый и последний раз. Иди!

Я ушёл к себе и вскоре услышал пьяный храп отца.

На следующий день я сделал ровно так, как он сказал. Подошёл к старшей пионервожатой и обратился к ней по имени-отчеству. Она обернулась и недоумённо посмотрела на меня.

— Тебе что, мальчик? - спросила она.

С комсомолом вышло несколько интереснее. Надо было написать заявление и завизировать его на обратной стороне подписями двух комсомольцев или одного коммуниста с указанием номера комсомольского или партийного билета. Это называлось "рекомендация".

Подпись я взял у соседа снизу – жутко идейного доцента ветеринарного института. У него и жена была такая же идейная, прямо ужас. Про них я расскажу позже, в заметке «Соседи».

Так вот, рекомендацию я взял, дебилные вопросы про демократический централизм выучил, но в торжественный день заболел. Вот беда. Когда же я в самом конце учебного года появился в школе (без пионерского галстука, естественно), то мне сказали, чтобы я пошёл в райком комсомола с фотокарточкой и забрал там комсомольский билет. То есть, меня приняли в комсомол без меня. Заочно.

Сказано – сделано. Я сфотографировался и пришёл с фотографией в райком, где на меня тут же набросилась тётка, которая сидела там на ресепшн (или на вахте, не знаю, как точно). Сказала, что я совсем уже обнаглел и перепутал комсомол с вокально-инструментальным ансамблем, куда как раз и принимают таких нестриженных баранов вроде меня. Удивилась, как меня на собеседовании не заставили постричься. Я ответил, что на собеседовании не был. Тётка, естественно, не поверила. Нашла меня в где-то в списках, но вклеивать волосатую фотографию в ценный документ отказалась. Хотя фотографироваться я пошёл прямо из парикмахерской. И был у меня вполне приличный mullet под певца Александра Барыкина.

В райкоме я больше не появлялся. Формально я в комсомоле состоял, но билета не было. На учёт в универе я не становился, это обстоятельство всплыло курсе на третьем или четвёртом, но никаких последствий не имело. А главное - если бы некомсомольцев не принимали в вузы, то меня бы тоже не приняли, так как доказать своё комсомольство мне было нечем. Первоначальная запись была сделана в Центральном райкоме, по месту нахождения школы. Жил я в Первомайском районе, а университет находился в Советском.

Но я в упор не помню, чтобы меня при поступлении спросили о членстве в ВЛКСМ. И потом не спрашивали до того самого случая, когда решили "пропесочить" на комитете комсомола и выяснили, что я там не числюсь.

Наверное, это зависело от вуза. Где-то комсомольству придавали значение, а где-то нет. Конкретно на матфаке ОмГУ оно никого не интересовало.

P.S. На известной картине Сергея Григорьева «Приём в комсомол» внимание обычно обращают на ноги девушки слева от стола. А меня интересовали два других вопроса: 1) почему кандидатша не в пионерском галстуке, ведь её из пионеров никто не исключал, и 2) какую же фигию по мотивам коммунизма можно выдумать и нести с таким воодушевлением, что семь человек сидят, развесив уши. Был предмет «Научный коммунизм» – в буквальном и абсолютном смысле ни о чём. Учебник можно было читать сколько угодно, содержания там – ноль. Даже не помню, как я этот научный коммунизм сдавал.

Соседи

В 1970-х годах нашими соседями внизу были доцент ветеринарного института Н.М., запомнившийся мне курением на балконе и постоянным табачным дымом у нас в квартире, его жена Л.Н., работавшая в управлении сельского хозяйства облисполкома, а также их дочь Лариса, на год младше меня. Эта семья была типичным представителем «куркулей», как они у нас назывались. Машина, дача, югославская стенка, набитая посудой, которой никто не пользовался, и книгами, которые никто не открывал. На стенах висели шикарные ковры, а в квартире царствовал стойкий запах нафталина.

Сама Лариса ещё не была настолько испорчена, как её родители, вышедшие из глухой деревни и стремившиеся показать всем, что жизнь удалась. Она была обычной девчонкой-подростком, страстно мечтавшей завести собаку. Родители ей это, естественно, не разрешали. Тогда она решила зайти с фланга, подарив мне книгу Бориса Рябинина «Друг, воспитанный тобой». Она надеялась заразить меня своей идеей, чтобы я уломал своих родителей на собаку, а там и её предки должны были дрогнуть. Надо сказать, что уговаривать моих родителей пришлось так долго, что я «перегорел» и охладел к этому делу. А после и у Ларисы появились другие интересы.

В любом случае, нас связывали исключительно соседские отношения, даже если мы иногда встречались в её компании и прогуливались по вечерам. Никаких там охов-вздохов, никаких поцелуев и записок – ничего этого и в помине не было. Просто хорошие приятели, не более того.

При вступлении в комсомол нужно было брать рекомендации либо двух комсомольцев, либо одного члена партии. Не мудрствуя лукаво, я спустился на этаж ниже и

попросил коммуниста Н.М. заполнить рекомендацию, что тот и сделал, прочитав, к моему вящему удивлению, небольшую лекцию насчёт ответственности строителя коммунизма, про комсомол как авангард партии и коммунизм как молодость мира, который предстояло возводить молодым. Такой прыти от него я не ожидал, но лекцию смиренно прослушал.

Через некоторое время Л.Н., не помню уже по какому поводу, заметила, что мне нужно было поступить так-то и так-то, ведь я комсомолец. «Записывался», - ответил я. Буквально за день до того показывали фильм «Ленин в октябре», где в сцене на заводе один рабочий именно так ответил на вопрос о членстве в партии эсеров. Вот у меня это слово случайно и вылетело. Я и думать не мог, какую реакцию вызовет у Л.Н. мой ответ. Мне припомнили и ответственность, которую несёт за меня примерный коммунист Н.М., и формулировку заявления о вступлении в комсомол (которая, кстати сказать, была стандартной и одинаковой у всех), и надежды, которые возлагает на комсомол партия и страна вообще, и мою святую обязанность следовать заветам и так далее. Я даже не подозревал, что обычные «куркули» и «жлобы» могут вдруг оказаться такими идейными. Это был средних размеров шок.

Однако, история на этом не закончилась. Как-то Л.Н. и моя мама встретились на улице, и Л.Н. произнесла речь примерно такого содержания.

«Твой сын, — сказала она, — очень красивый мальчик с нестандартной внешностью. Это привлекает, это может вскружить голову какой-нибудь пятнадцатилетней девочке. Но я — мать такой девочки и обязана видеть больше и дальше. Почему он носит длинные волосы? Ведь даже не у всех девушек такие. Он упорно отказывается их стричь. И это не просто подростковое упрямство. Я знаю, что по этому поводу он проходил освидетельствование в

специализированной клинике. И психиатрическими диагнозами у нас направо и налево не разбрасываются.»

Мама пыталась возразить насчёт психиатрического диагноза, которого как раз и не было, но соседку было уже не остановить. Она рассказала маме, как я «записывался» в комсомол.

«Так вот, — продолжила Л.Н., — он не просто неуправляемый. Он гораздо хуже. Так начинают диссиденты. Да-да. Начинают с длинных волос, вот с таких фраз, с презрения к нашему образу жизни, а заканчивают в психушке, в тюрьме или даже за границей, тем более что ваше происхождение, так сказать, способствует. Мы с Н.М. родились в деревне. Ты даже не представляешь, чего нам стоило добиться нашего положения. Мы всю жизнь на это положили и оставили Ларисе задел. Мы не хотим, чтобы ей пришлось начинать всё сначала и проходить через всё то, через что пришлось пройти нам. Я не хочу видеть твоего сына рядом с Ларисой.»

Дома мама передала мне этот разговор. Перестать видеться с Ларисой мне не составило ни малейшего труда, да и собачий проект окончательно заглох. Замуж Лариса вышла за широко известного в узких кругах карточного шулера и даже родила от него ребёнка. Однажды он решил попробовать себя в другой области, сунувшись в золотовалютные дела. Разбирался он в этом, видимо, плохо, так как его вскоре кинули. Он задолжал серьёзным людям серьёзную по тем временам сумму и ударился в бега по всему Советскому Союзу. Естественно же, его нашли, потрясли до дна, оставив Ларису с ребёнком без наследства, а потом убили, чтоб другим было неповадно.

В одном только Л.Н. оказалась права: я всё же оказался за границей.

Москва музыкальная

В былинные брежневские времена объявился в нашем городе один столичный педагог-реформатор в сопровождении жены в два раза младше себя. Новая методика преподавания сольфеджио плюс развитие музыкального слуха и всё такое прочее. Он пробыл у нас примерно неделю, показывая всем открытые уроки по своей революционной методике и продавая брошюры собственного сочинения. Уроки были интересными, даже захватывающими, проходили на одном дыхании. После отъезда педагога-революционера город ещё какое-то время гудел, а когда пыль улеглась, стало ясно, что реально так никто и не понял, в чём эта методика заключается и что это всё вообще было. В купленных методичках содержались одни только общие фразы. Открытые уроки оказались великолепно построенными театрализованными представлениями, а вся история оставила отчётливое послевкусие шарлатанства.

А ещё эта столичная знаменитость проводила индивидуальные консультации, в ожидании которых родители и их чада проводили целый день. Не избежала эта участь и меня. Великий педагог сказал, что у меня «совершенно определённый музыкальный дар», что делать мне тут нечего и что надо обязательно учиться в Москве.

Вероятно, говорил он так всем, кого видел, потому что когда мы с отцом через пару месяцев приехали в столицу, то встретили товарищей по несчастью, тоже прибывших из глухих провинций и методично обходивших все имеющие хоть какое-то отношение к музыке учебные заведения в поисках скрывавшегося от них реформатора.

Но уйти от моего папаша – бывшего энквэдешника с опытом допросов – было нереально. Через несколько часов нашей охоты ничего не подозревавший реформатор

столкнулся в одном из коридоров с сухощавым старикашкой и тинейджером неопределённой гендерной принадлежности. То есть, с нами.

Великий педагог вспомнил меня с огромным трудом. Или сделал вид, что вспомнил. Нам была вручена записка с ФИО и телефоном знатной дамы из музыкального училища при консерватории, которой и предстояло показаться. Отец тут же позвонил по указанному номеру и договорился о встрече на следующий день.

Училище находилось в центре города, в одном из отходящих от проспекта Калинина (ныне – Новый Арбат) переулков. Дама экзаменовала меня в течение примерно пятнадцати минут, после чего вынесла приговор: с такой подготовкой в Москве у меня нет ни малейшего, даже самого завалящего шансика. Слишком поздно я стал заниматься музыкой, плюс провинциальное обучение... Короче, с учётом моей внешности, мне предложено было подумать над артистической карьерой. С телефончиком дама бы помогла.

Я был раздавлен, а вот отец, напротив, необычайно повеселел. Теперь, сказал он, дорога мне только одна – в математику, куда же ещё. Хватит химер, хватит гоняться за призраками, кому вообще когда-либо нужны были музыканты? А вот математики нужны, их, вон, целые институты сидят. Там докторские в тридцать лет защищают. Ведь каждому отцу хочется дожить до того дня, когда его сын защитит докторскую.

Математику, по которой у меня были сплошные пятёрки, как и по всем остальным предметам, я ненавидел. «Интересные задачи» наводили на меня невыразимую тоску. Артистическая стезя, однако, привлекала меня ещё меньше, и я решил смириться с судьбой.

За разговорами мы возвратились на Арбатскую площадь, перешли дорогу и оказались у входа в ресторан «Прага». Тут отец ударился в воспоминания, как он учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, как они тут

кутили и как они тут праздновали окончание этой самой школы. Слава Кисы Воробьянинова, фактически просадившего в этом ресторане всю свою жизнь, сподвигла отца на подобный подвиг — он решил повести меня туда. Надо сказать, что он запросто мог потратить весь аванс на какие-нибудь оленьи рога или на винный кубок. Поэтому на мой вопрос, хватит ли у нас вообще денег на такое заведение, он ответил, что обратные билеты у нас уже есть, а до того времени как-нибудь протянем. К тому же, поведал он, в ресторане «Прага» подают ни с чем не сравнимые куриные котлеты, такие, которые я никогда не ел и никогда больше не попробую. Во всяком случае, в пятидесятые годы они были сказочно вкусными, это он помнит точно.

У двери «Праги» случилось ровно то, что я и ожидал: пропускать нас туда никто не собирался. Не помогли даже упоминания фамилий кандидатов в члены Политбюро, с которыми отец якобы учился. Швейцар был непреклонен. Тогда отец пустил слезу (это он умел, вот кому артистом надо было быть!), сказал, что он старый больной ветеран-интернационалист, что привёз сына, будущее математическое светило, показать столицу и дать ему отведать знаменитое на весь Союз блюдо — куриные котлеты в картофельной соломке.

Швейцар ненадолго исчез и появился снова с каким-то мужиком, которому отец повторил свою историю с точностью магнитофонной записи. Мужик сказал, чтобы мы шли в стоячий кафетерий от этого же заведения (соседняя дверь) и ждали, пока нас позовут. Мы так и сделали.

Через некоторое время нас действительно позвали, и работница кафетерия вынесла нам две тарелки заветных котлет. Платить надо было тут же в кассе, чем отец и воспользовался, купив два стакана едва тёплой бурды, гордо именовавшейся «кофе».

Котлеты на самом деле были волшебными, таких я больше никогда не ел.

Boney M

В советское время был в Омске магазин «Голубой огонёк», где продавалась разная бытовая электроника и радиодетали. Раз или два в неделю я заходил туда и бродил вдоль прилавков, изучая новинки советского ширпотреба. В этом магазине я купил кучу разных ламп и транзисторов-резисторов, пытаюсь собрать радиоприёмник, что мне так и не удалось. Отец покупал там все наши телевизоры, которых у нас было, в общей сложности, четыре. Поочерёдно, естественно.

А ещё родители купили мне там две вещи, о которых мои одноклассники могли только мечтать: магнитофонную приставку высшего класса, огромную такую, на катушках (так в нашем городе называли магнитофонные бобины) и проигрыватель для грампластинок, тоже высшего класса и очень дорогой. Оба девайса были без конечных усилителей, только с выходами для них. Усилитель подразумевался отдельный, но у меня его не было, потому что музыку я слушал в наушниках.

Однажды я забрёл, как обычно, в «Голубой огонёк», зашёл в отдел магнитофонов и услышал, как из одного из них звучит песня «Oceans of fantasy». Английского языка я тогда не знал, а сейчас его тем более не знаю, но эти слова разобрал, потому что они медленно повторялись несколько раз.

Я никогда не слышал этой песни. Мой одноклассник, у которого я брал записи, называл себя главным источником свежака в городе. Но этой песни у него не было.

Дождавшись, когда продавщица пройдёт мимо меня, и спросил, что это за группа. Ответа не последовало. Не потому, что продавщица была такая грубая, а потому что спросил я слишком тихо.

— Это «Boney M», новый концерт, — раздалось сбоку. Концертами мы тогда называли альбомы.

Я повернул голову. Рядом стоял солдат, самый обычный, в сапогах, шинели и шапке.

— А «Полёт на Венеру»? — удивился я.

— Это прошлый концерт. Новый – вот этот. — Он показал на магнитофон, где уже началась новая песня.

— Мой друг говорит, что у него - самые свежие записи в городе. И этой песни там нет. И которая сейчас, её тоже нет. Это точно «Boney M»?

— А ты сам разве не слышишь, что это они?

Конечно же, я слышал.

— Твой друг в Москву каждый раз мотается?

— Нет, а что?

— А как у него могут быть самые новые песни в городе, если он их у кого-то в городе списал?

Об этом я до сих пор как-то не думал.

— У тебя какой магнитофон, — спросил солдат.

— Вот такой, — ответил я и показал на витрину.

Солдат только присвистнул.

Мы ещё поболтали ещё немного, обсудили стоявшую на прилавке аппаратуру, а потом вышли на улицу.

— У тебя есть свободная плёнка? — спросил солдат.

— Конечно, — ответил я, хотя очевидным это вовсе не было. Плёнка, как и всё в СССР, была дефицитом.

— Принеси её завтра днём на КПП, — он назвал часть, расположенную неподалёку. — Скажешь дежурному, чтобы позвали Игоря. А послезавтра можешь её забрать. Я запишу тебе этот концерт.

Сначала я не поверил своим ушам. А когда поверил, быстро попрощался и полетел домой. То, что солдат мог обмануть меня, просто забрав себе драгоценную плёнку, а назавтра сказать, что видит меня впервые в жизни, мне и в голову не приходило. Не задумывался я и о том, что в то время каждого третьего парня в России звали Игорем.

На следующий день я был на КПП. К моему удивлению, нужный Игорь нашёлся тут же. Я отдал ему самое дорогое, что у меня было – гэдээровскую плёнку ORWO 525 метров, а назавтра – о чудо! – получил её назад в целости и сохранности с записями на девятнадцатой скорости.

Через час в моих наушниках звучала песня «Oceans of Fantasy». На другой стороне катушки Игорь записал альбом группы Space «Just Blue» в преотличнейшем качестве. Звезда моего друга – самозванного владельца самых новых в городе записей – закатилась. На какой должности служил солдат Игорь и откуда у него были такие качественные записи, я не поинтересовался. От радости забыл спросить.

Юный радиолюбитель

Попала мне как-то в руки книжка «Юный радиолюбитель» издания конца 1950х годов. Я стал её читать и так увлёкся, что решил непременно собрать собственный радиоприёмник, начав, как и предусматривалось в книжке, с самого простого – детекторного. Потратив недели на ручное наматывание катушки индуктивности, я собрал свою первую схему. Со страшным волнением подключил наушники и услышал в них тишину. Проверил и перепроверил схему – всё правильно, а в наушниках ничего. Наверное, дело в антенне, подумал я. Ведь недаром в книге столько места уделяется строительству правильной антенны. Внимательно изучив соответствующий раздел, я собрал антенну-монстр и выставил её на балкон. Заодно занялся заземлением, закопав, как положено, на газоне металлическую пластину и подняв от неё провод на третий этаж в квартиру. Подключённая к монстру-антенне и чудо-заземлению старая радиола пережила второе рождение, вот только мой детекторный приёмник продолжал молчать.

Я не стал топтаться на месте, а пошёл дальше. В следующих главах описывалось создание лампового приёмника. Увы, ни одной упомянутой лампы в магазине я не нашёл, так как они к тому времени давно уже не выпускались. Но продавщица дала мне адрес магазина уценённых товаров, где я и нашёл детали из книжки. Собранный с этими деталями с нуля радиоприёмник работать тоже отказался.

Вскоре отец рассказал о моём увлечении одному знакомому. Оказалось, что тот в молодости тоже радиолюбовествовал, и дома у него хранится великое множество радиодеталей, которые я могу забрать себе. Через пару дней сокровище, включавшее в себя разные лампы, конденсаторы, резисторы, катушки, трансформаторы, микрофоны,

громкоговорители и прочие детали, причём почти все ещё в упаковке, перекочевало в мою комнату.

Теперь у меня были все элементы, которые использовались в схемах книги «Юный радиолюбитель». Я решил начать с самого начала, собрал всё, как предписано, но ничего, естественно, не работало. Лишь однажды я услышал в наушниках звук местного ретранслятора. Моя радость была, однако, преждевременна, так как звук этот присутствовал всегда и не регулировался никакими настройками. Видимо, сигнал был настолько сильный, что сам по себе наводился и детектировался в любом проводе.

Однажды у нас сломался телевизор, и мы вызвали техника. Тот нарисовал мне схему, которая, по его словам, будет работать даже на Южном полюсе под землёй. Она у меня тоже не заработала. Наверное, Южный полюс был слишком далеко.

Через годик-другой выяснилось, что у маминой коллеги есть сын Игорь ровно моего возраста, тоже увлекающийся радиолюбительством. Мы встретились у него дома, где я и поведал свою эпопею.

Игорь только хмыкнул: кто в наше время, когда космические корабли бороздят просторы больших театров, ковыряется с лампами? Полупроводники – вот оно настоящее и будущее. У него тоже была книга «Юный радиолюбитель», но уже в современном издании, где лампы упоминались лишь вскользь. Я перерисовал из этой книги пару схем на транзисторах и потешил гордость моего нового знакомого, впечатлившись его работами.

Транзисторы искать было не надо, они спокойно продавались в радиомагазине. После того, как схема на транзисторах тоже не заработала, Игорь подарил мне книжку про усилители: высокочастотные, располагаемые перед колебательным контуром, и низкочастотные, для вывода на динамики. Собранный высокочастотный усилитель оживить мёртвые схемы так и не смог, а низкочастотный

совершенно не реагировал ни на какие входящие сигналы — ни от микрофона, ни от радиолы, ни даже от странной переносной приставки-проигрывателя, где своего усилителя не было и которую надо было куда-то подключать. Причём приставка-проигрыватель очень даже радостно общалась с той же радиолой, где был предусмотрен вход для таких вещей. И если лампы хотя бы светились и грелись (пусть и без толку), то по внешнему виду транзисторной схемы нельзя было сказать, течёт там какой-то ток или нет.

Через какое-то время Игорь позвонил проводить, как идут дела. Узнав об отсутствии каких-либо успехов, он предложил мне прийти в его кружок юных радиолюбителей. Сообщил адрес кружка и расписание его работы.

В один прекрасный день я отправился по этому адресу. Кружок располагался в полуподвальном помещении, так что его окна были примерно на уровне земли, и мне не составило никакого труда посмотреть, чем они там занимаются. Я постоял, посмотрел, поразмышлял и подумал, что усилия, потраченные на знакомство с таким количеством новых людей, на рассказ о себе и своих проблемах руководителю кружка, не стоят даже работающей схемы, не говоря уже об очередной неработающей. Вся эта бодяга к тому времени успела мне уже порядком поднадоесть, появились новые интересы и увлечения, где, в отличие от радио, у меня были результаты. Эти увлечения требовали времени, которого на приёмники и кружок явно бы не хватило. Я повернулся и пошёл домой.

Вскоре надо было готовиться к переезду на другую квартиру, и все радиодетали, платы, схемы и провода я безо всякого сожаления отнёс на помойку. Интерес угас окончательно. Единственный вопрос, который меня занимал ещё некоторое время: у того, кто подарил мне гору неиспользованных деталей, хотя бы одна схема заработала, или он забросил радио по той же самой причине, что и я?

Медицина

Ребёнком я постоянно болел и редко вылезал из больницы, так что неудивительно, что я с самых ранних лет стал интересоваться медициной. Да ещё у нас была «Малая медицинская энциклопедия» в двенадцати томах, которую я читал всё свободное и не очень свободное время, годам к семи выучив наизусть внушительное количество статей.

В больницах я всегда сам ставил себе уколы, советовался с лечащими врачами по поводу собственных диагнозов, а те подробно объясняли мне, почему они назначают именно эти лекарства, а не другие, раскрывали планируемую тактику лечения. Все назначения и отмены обязательно обсуждались. Со мной можно было запросто разговаривать на профессиональном жаргоне, иногда я даже давал медсёстрам консультации.

Время от времени в отделении появлялись практиканты. Они осматривали больных детей, систематизировали симптомы и ставили диагнозы. О назначениях лекарств речь не шла, практиканты ограничивались диагностикой. Но и там они умудрялись делать одну ошибку за другой. Я объяснял им механизмы появления мелкопузырчатых хрипов, проблемы дифференциальной диагностики лёгочных заболеваний, методику и порядок обследования. Однажды преподавательница попросила меня не докладывать практикантам все свои симптомы, не дожидаясь вопросов. Практиканты, говорила она, сами должны спрашивать о симптомах, формулировать главные и уточняющие вопросы и представлять себе всю симптоматику в комплексе. Потому что, если им выдавать лишь подготовленную, пережёванную и систематизированную информацию, они не научатся сами докапываться до диагноза. Со мной она говорила обычным взрослым тоном, как с коллегой.

Что же касается специализации, то я собирался быть патологоанатомом или судмедэкспертом. Разницу между этими двумя понятиями я прекрасно знал уже тогда. Недалеко от школы находилась «анатомичка» местного мединститута. Я частенько заходил туда и устраивал сам себе экскурсии. Ко мне привыкли и не выгоняли.

Лишь в самом начале, когда я увидел огромную заполненную ванну, я спросил преподавателя, не та ли это ванна, в которой растворяют трупы. Тот расхохотался, показал стопку журналов и отчётов и сказал, что тут всё под контролем, всё учитывается и фиксируется. И что это официальное государственное медицинское учреждение, а не бандитская малина. А заодно поинтересовался, что я тут делаю в разгар учебного дня. Я ответил, что сейчас всё равно физкультура, её можно и пропустить. Преподаватель резонно возразил, что в школе для меня не должно быть второстепенных или необязательных предметов, потому что при конкурсе в мединститут учитываются не только оценки на вступительных экзаменах, но и средняя оценка аттестата. И тогда из-за какого-нибудь неважного предмета я могу не пройти по конкурсу. Так что, сказал он, учиться нужно отлично по всем предметам.

Отец был страшно против мединститута. «Знаешь, сколько там надо всего учить и наизусть зубрить? Не просто понимать и вникать, а именно что тупо зубрить. Так, чтобы тебя посреди ночи подняли, и ты смог без запинки по латыни перечислить все мышцы кисти, например. А патологоанатом — тот должен быть на голову, нет, на две головы выше. Потому что специалист знает только свою область, а патологоанатом должен свободно владеть всем материалом и знать всё.»

Короче, напугал он меня так, что классу к восьмому мединститут сошёл с повестки дня. И хорошо, потому что мне, с моим складом личности, делать в медицине совершенно нечего. Здесь я отцу благодарен.

Учителя

Из всех школьных учителей самой яркой фигурой (в том числе и в буквальном смысле слова) была физичка Валентина Олеговна – высокая, стройная, яркая блондинка с длинными, волнистыми волосами. Ей было тогда лет 25-27. Запомнилась она ещё и потому, что на её уроках полностью отсутствовала какая-либо дисциплина. Звенел звонок, но ученики не реагировали ни на него, ни на вошедшую в класс Валентину Олеговну. Стоял обычный для перемены, но немыслимый на нормальном уроке гвалт, однако Валентина Олеговна оставалась невозмутима.

— Встали все ровненько, здравствуйте, садитесь, — монотонно картавила она, хотя никто даже и не думал вставать и приветствовать её. Все занимались своими делами, громко разговаривали между собой, а учительница начала урок и вела его, как артисты отрабатывают корпоративы: поют себе свою программу во время ужина в ресторане, совершенно не заботясь о том, слушают их или нет.

Она никого не заставляла её внимать. Участие в уроке было делом сугубо добровольным. Можно было подсесть поближе и слушать. А можно было отсесть подальше и делать, что угодно. На уроках ни у кого не было своего определённого места, каждый выбирал место оперативно, в зависимости от ситуации. Давались и задания. Кто хотел, делал их, кто не хотел, не делал. На вопросы Валентина Олеговна всегда отвечала, а если с заданиями были затруднения, подходила и объясняла непонятные моменты. К доске она тоже иногда вызывала.

Однажды она прямо сказала, что свои экзамены она давно сдала, а вот нам сдавать их только предстоит. Так как мы уже достаточно взрослые, то должны сами решать, заниматься на уроках физикой или играми в морской бой.

Я на морской бой время не тратил. Поэтому по физике у меня были сплошные пятёрки, в новой школе – тоже. Физичка в новой школе даже спросила, как звали мою прошлую учительницу – настолько хорошие знания у меня были. И на экзаменах я получил пятёрку.

Но запомнилась Валентина Олеговна не только этим. Классе в седьмом мне вдруг приспичило заинтересоваться математикой, а конкретно – математическим анализом. Ну, всякими производными, первообразными, интегральным исчислением и прочей лабудой. Учебник для 10 класса мне не помог, в интегралы я упорно не врубался. И меня это жутко бесило. Особенно раздражало осознание того, что какая-то Валентина Олеговна в них разбирается, а я – нет.

Несколько раз я подходил к ней после уроков и просил объяснить тот или иной момент в началах матанализа. Она объясняла, пусть с каждым разом менее и менее охотно. Однажды я обнаглел настолько, что подкатился со своими вопросами после последнего урока. Вдобавок это была ещё и суббота, тогда по субботам учились. Валентина Олеговна закрывала классную комнату и была мыслями уже где-то далеко, когда перед ней снова нарисовался я.

— Слушай, — поморщилась она, — иди уже, а?

Я последовал её совету и пошёл в книжный магазин, где нашёл книгу типа «Матанализ для чайников». Материал там объяснялся настолько необычно и доходчиво, что не понять его было невозможно. Вскоре я мог спокойно решать не только стандартные задачи «Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями», но и куда более сложные, коими книга была напичкана. После чего интерес к математике у меня пропал и больше никогда не появлялся.

Пропал у меня интерес и к Валентине Олеговне, зато он проснулся у подростков одноклассников, которые обсуждали её груди, ноги, чулки и косметику, а также придумали систему зеркал, чтобы посмотреть на неё в проекции снизу. Джинсы учительницы в то время ещё не носили.

Полной противоположностью Валентине Олеговне была некая Татьяна Владимировна, физручка. Собственных детей у неё не было, а чужих она ненавидела. От физкультуры я был освобождён пожизненно, в расписании это был последний урок, так что я спокойной шёл домой, с физручкой так и не пересекаясь.

Но вот в четвёртом классе прямо среди года мы остались без классного руководителя. Бывшей руководительнице пришлось сниматься с места и ехать за мужем-военным, а на её место временно, до конца года, назначили эту самую Татьяну Владимировну.

На первом же классном часе я имел удовольствие лицезреть её воочию. Нормально разговаривать она не умела. Она либо орала, либо громко орала, либо истерила. После классного часа требовался ещё один час, чтобы звон в ушах после её визга, наконец-то, затих.

Её карающий вопль не обошёл стороной и меня. Как-то она проверяла наши дневники и наткнулась в моём дневнике на записанное под копирку расписание уроков на день. Ну, представляете себе: на правой странице дневника идут уроки на четверг, пятницу и субботу. На следующей правой странице – они же самые. Между листками я поместил копировальную бумагу, так что расписание на эти три дня автоматически скопировались на следующую неделю.

Когда она увидела моё творчество, она чуть не лопнула от злости. Как же! Я такой-сякой ленивец, не потрудился лишний раз заполнить расписание. Это – краткое содержание её, с позволения сказать, нравоучений. Выглядело же это, словно меня уличили как минимум в умышленном поджоге школы. Татьяна Владимировна гремела так, что дрожали окна и мигало освещение в классе.

— Наглец, нахал, сволочь такая! — потрясала она кулаками прямо перед моим носом, с трудом сдерживаясь от удара. Когда она орала, то имела обыкновение краснеть и выкатывать глаза. На этот раз я даже немного испугался.

— Ты чего zenки-то выкатил? Чего zenки выкатил, а? Я тебя спрашиваю! Отвечай!

При этом её собственные zenки находились на грани пролапса. Это было настолько прикольно, что испуг прошёл, и я улыбнулся. Что повысило давление внутри Татьяны Владимировны ещё на два атмосферы.

— Ты ещё лыбишься?! Ещё лыбишься да? Замолчи-с-с-скотина! — визжала она, хотя я не издал ни звука.

Чем закончился спектакль, я не помню, но впоследствии вспоминал «истеручку» не раз. Например, когда я узнал о существовании термина «экзофтальм». Или когда услышал миниатюру Аркадия Арканова со словами: «Я лишаю вас слова! Говорите!» Или когда я смотрел сценку в суде из фильма «Берегись автомобиля», где один персонаж говорит другому: «А вы не знаете, так молчите», хотя тот во всём эпизоде даже рта не раскрыл.

Потом нам всё-таки нашли постоянную классную руководительницу – учительницу русского языка и литературы Валентину Вячеславовну. В общем и целом, она оставила положительные воспоминания. С переменным успехом она пыталась оживить затхлую программу её предметов. Много читала вслух не из программы, рассказывала не только о произведениях, но и о жизни их авторов. Пушкина, Некрасова или Тютчева она представляла нам не только как поэтов, но и как личностей, как людей из плоти и крови, живших в своё время, совершавших разные хорошие и плохие поступки, обладавших разными характерами и предпочтениями. Многие пьесы мы читали в классе по ролям. Она и сама устраивала иногда моноспектакли.

Неудивительно, что в школе такая творческая личность не прижилась. Избавились от неё просто: обласкали, захвалили, завалили грамотами и благодарностями, писали возторженные рекомендации в разные инстанции. Валентину Вячеславовну заметили и забрали на должность в гороно.

Ещё одним запомнившимся педагогом была Лидия Васильевна – директриса школы, которую я заканчивал и где я учился только три последних четверти перед аттестатом. Преподавала она географию, которой в десятом классе не было. Так что на уроках я у неё не был.

Но в школе её реально любили. Существовало даже неофициальное расписание, с каким классом Лидия Васильевна в столовой сегодня сядет обедать. Это была величайшая честь, и расписание помогало избежать несправедливостей. С ней, как со старшим другом, можно было запросто один на один обсудить что-нибудь такое, о чём не хотелось бы говорить с родителями. При этом не играло никакой роли, ведёт она в твоём классе уроки или нет.

Замечания её были всегда по делу. Она никогда ни до кого не докапывалась.

Школьная форма была необязательна. Хочешь – ходи в форме, хочешь – в чём хочешь. Это не означало ровно ничего. Не было и страшного и ужасного расслоения, которое форма якобы предотвращала.

Школа находилась в «казахском» районе, среди учеников казахи составляли примерно четверть, если не треть. Трений на этой почве не было вообще. Наверное, здоровая атмосфера в школе не накапливала пар, который надо было куда-то и на кого-то выпустить.

Однажды Лидия Васильевна съездила в турпоездку в Индию. Индия тогда официально строила социализм (на самом деле, вроде бы, нет), так что туда пускали после посещения более социалистической страны, вроде Болгарии или ГДР. Членом партии она не была, так что сначала ей пришлось съездить аж в две соцстраны. Впечатлениями она поделилась так: «Теперь я знаю, что есть страны, где люди живут ещё хуже, чем мы».

Остальные школьные учителя запомнились лишь как серая масса разной степени злобности.

Одноклассники

О более-менее запомнившихся одноклассниках речь пойдёт в последующих заметках, а тут я перечислю лишь некоторых, почему-то не забытых полностью.

Паша. Вечно неунывающий весельчак-балагур. В плохом настроении я его ни разу не видел. Жил в старой однокомнатной квартире вместе с братом-близнецом, мамой и бабушкой. Вчетвером в одной малюсенькой комнатке. Он ладил со всеми, врагов или даже просто недоброжелателей у него сроду не водилось.

На разного рода классных часах, субботниках и уборках школы он использовал тактику собственного изобретения. Заключалась она в следующем. Паша приходил на мероприятие, где вёл себя, как ему и полагалось: шутил, громко хохотал над собственными шутками, бросался тряпками и вообще всяко мешался. А потом внезапно и незаметно испарялся. Растворялся в воздухе. Когда учительница впоследствии проводила разбор полётов, ни ей, ни кому-либо другому и в голову не приходило обвинить Пашу в прогуле. Ведь он был тут, его все видели и слышали.

Витя. Альфа-самец класса с самых октябрят. Абсолютный и непререкаемый авторитет. Однажды, через несколько лет после окончания школы (а заканчивал я другую школу, куда ушёл в десятом классе), он вдруг позвонил (и откуда он только мой номер узнал?), сказал, что находится неподалёку и может зайти, поболтать о том и о сём. Отказывать ему причин не было, и я согласился.

Поболтать о том и о сём удалось минут пятнадцать, не больше. Витя рассказал, что встречается с девушкой, дочерью главного в городе шахматиста, мастера спорта и

кандидата технических наук. Кстати, заметил он, завтра у неё день рождения. По этому поводу он раздобыл где-то список шуточных поздравлений, которые ему посоветовали зачитать не с обычной бумажки, а как бы с телеграфных лент. И вот эти телеграфные ленты ему позарез нужно напечатать. Ведь у меня, как он помнит, была раньше пишущая машинка, разве нет?

Поздравления мы напечатали, больше я его не видел. В интернете о нём масса упоминаний, все так или иначе связаны с криминальными деяниями.

Женя. Круглый отличник и неизменный друг Вити. Маленький, страшненький, конопатый блондинчик. Меня он ненавидел за мою внешность, являвшейся полной противоположностью его внешности, из-за которой он дико комплексовал. День для него был прожит зря, если он не довёл меня до белого каления. Он устраивал мне всякие подлянки и подговаривал на это других. Рассказывал про меня всякие небылицы, высмеивал при всех, короче, издевался как мог, во всю силу своей изобретательности.

И тогда я решил его убить. Как конкретно, я уже забыл, но план был составлен. Привести в действие его нужно было срочно, пока у меня не наступил возраст уголовной ответственности.

Конкретный день я намечать не стал, решил действовать по обстоятельствам. И надо же так получиться, что как раз тогда он вдруг от меня отстал. Просто перестал меня замечать, смотрел сквозь меня, как сквозь стекло. Честное слово, я никому ничего не говорил о своих планах!

Убийство не состоялось. Женя пошёл после школы в мединститут и стал видным московским хирургом.

Игорь. Одноклассник из рассказа про Boney M. Одно время мы с ним дружили, шалили и обменивались магнитофонными записями. Закоренелый двоечник. После

восьмого класса перешёл в ПТУ. Через несколько лет неведомым образом нашёл меня, явился с тремя или четырьмя парнями уголовной внешности и прямо на лестничной площадке предложил заниматься дилерством — торговать наркотой. Я отказался, и они ушли.

Совершенно случайно я узнал, что вскоре после того визита Игоря убили.

Костя. Прикольный чувак, который всегда и везде опаздывал, в том числе и на все уроки. На первый урок — само собой, а на последующие — после перемен, которых ему никогда не хватало.

Когда я учился в начальной школе, где все предметы ведёт один учитель, к нам ездила мусорная машина по графику. Вынос мусора входил в мои обязанности. Машина приезжала очень рано, я выносил ведро, потом собирался в школу и уходил. Но в один прекрасный день машина задержалась. Это был единственный раз, когда я опоздал в школу. Объяснил учительнице Марии Петровне, в чём дело, на том история и закончилась.

Но не совсем.

Костя тогда в очередной раз опоздал на первый урок.

— Можно?

— Нужно, - ответила Мария Петровна и чисто ради формы спросила: — Ну, что на этот раз?

— Дорогу не мог перейти, — объяснил Костя.

— Снова бабушку через дорогу переводил? — осведомилась Мария Петровна.

— Нет. Не мог перейти, потому что по дороге шла длинная колонна мусорных кранов, — сказал Костя.

— Что? — оживилась Мария Петровна. — Каких кранов?

— Ну, кранов, мусорных, — подтвердил Костя. Класс захихикал.

— Старушки закончились, теперь начались краны. Давай дневник и садись.

Мария Петровна сделала очередную запись.

— Вот, - сказала она. — Бери свой дневник. Ты хоть знаешь, какой у нас сейчас урок? Про домашнее задание я уж и не спрашиваю.

Костя подошёл, взял дневник, помедлил немного, а потом выпалил:

— Тогда и ему тоже в дневник запишите! – кивнул он в мою сторону.

— А он-то тут причём? – удивилась учительница.

— Потому что ему за мусорные краны ничего не было. Какая разница, в первый раз он опоздал или нет.

— Какие краны? Какой первый раз? Ты вообще о чём?

Вспомнить обстоятельства моего единственного опоздания не составляло труда, так что я тут же напомнил присутствующим об опоздавшей мусорной машине.

— Понял? — спросила учительница Костю. — Слышал звон, не знаешь, где он. Иди, садись на место.

Класс покатился со смеху, хотя к Костиным отмазкам все давно привыкли и перестали на них реагировать.

Вскоре Костя перешёл в другую школу, а в музыкальной школе я учился с одним из его новых одноклассников. Тот рассказал, что и в новой школе Костя постоянно опаздывал и что он и там повторил историю с мусорной машиной, но на этот раз в корректном варианте.

Лена. Это была красивая девушка с удивительным элементом дизайна: её глаза и волосы были одного пепельно-серого цвета. К сожалению, заметить это мог далеко не каждый. Она всегда ходила с чуть опущенной головой, не поднимая глаз, так что увидеть их цвет было проблематично. Говорила она настолько тихо, что учителя спрашивали её не на уроках, а после них или на переменах. На моей памяти к доске её не вызывали ни разу. Училась она всегда строго на тройки. Кроме того, у Лены был нервный тик, заметный только в самой непосредственной близости:

когда она с кем-то разговаривала или просто была объектом внимания, то голова её немного «дрожала» из стороны в сторону, словно она отрицала что-то («нет-нет») или была несогласна с тем, что ей говорили. Поначалу это мотание головой сбивало с толку, но потом на него уже не обращали внимание. При всём этом Лена не была в классе каким-то изгоем или объектом моббинга. Даже если у неё и не было подруг, общались с ней совершенно нормально, как со всеми. Несмотря на некоторые странности, умственно отсталой она отнюдь не была.

А ещё Лена носила очень длинное, словно дореволюционное, форменное платье. Оно было не по размеру большим, но я думал, что его купили на вырост. Мне иногда одежду тоже так покупали, эка невидаль. Примечательно, что я несколько раз видел её на улице после школы, и она каждый раз была в том самом платье. Ну, мало ли, не успела зайти домой переодеться. Я тоже ходил весь день в школьной форме, если не успевал дома переодеться.

Вскоре в классе разбирали что-то касающееся предстоящих экзаменов, а Лена в тот день болела. Не знаю почему, но учительница отправила именно меня к ней домой, чтобы отнести материалы к экзаменам и объяснить то, что мы только что прошли. Мне дали записанный на бумажке адрес Лены и попросили зайти к ней не откладывая. Я решил пойти к ней по пути из музыкалки, чтобы наверняка застать одноклассницу дома. Хоть она и считалась больной, но мало ли что. Вдруг она не такая уж и больная, ушла куда-нибудь, а я приду и уличу её во вранье.

По записанному адресу в самом центре города располагался полуразвалившийся, вросший в землю вонючий барак с покосившейся до незакрываемости входной дверью, завешенный снаружи и внутри выстиранным бельём. В прокуренном и пропитавшемся кухонными запахами коридоре мне показали, где живёт семья Лены. По скользкому полу я дошёл до двери в самом конце коридора. За дверью

располагалась одна большая комната, где и находилась (слово «жила» было бы большим преувеличением) Лена с родителями, братьями и сёстрами. Первый раз в жизни я увидел, что такое настоящая, нагая и кричащая нищета. В одном помещении целая семья спала, готовила еду, ела, мыла посуду и мылась сама, делала уроки и так далее. Ни о каком продуктивном общении и речи не шло, поэтому Лена, которая была одета в то же самое длинное форменное платье, сама предложила выйти на улицу, тем более что вечера стояли тёплые. Там я и выполнил свою миссию, отдав что принёс и пересказав услышанное на уроке.

Дома я рассказал маме об увиденном. Оказалось, что отец Лены – поп, мать – уборщица в какой-то конторе по соседству, потому что 41-часовую рабочую неделю она не могла себе позволить. У них было пятеро детей, Лена по возрасту была второй и донашивала, как я понял, одежду старшей сестры, а кроме школьной формы у неё ничего не было. Ещё мама рассказала, что родительский комитет даже собирал материальную помощь её семье, и что одна особо резвая дама тогда громко спросила, допустимо ли собирать деньги семье попа – нашего идеологического врага. Классная руководительница взяла этот вопрос на себя, замяла его, и деньги всё же собрали.

Валя

Валя пришёл к нам в шестом классе. Жил он довольно далеко, и почему ездил к нам - не знаю. С первых же дней он занял в коллективе особое место. Он не был чмом, не был забитым или униженным-опущенным. Он был как бы вне класса – сам себе класс. О нём я вспомнил, когда первый раз увидел слоган ушедшего в небытие английского производителя автомобилей. «Rover – a class of its own». Коллектив не мог терпеть, когда от него отделяются. Меня за это наказали моббингом. Валию ровно за это же самое собрались как-то избить. Но его тактика защиты (которая меня восхитила настолько, что стала моим уроком на всю жизнь) привела всех в замешательство. В драке у Вали не было никаких табу. Схватить первый попавшийся острый камень, шариковую ручку или ножик и тыкать этими предметами противнику хоть в глаза, хоть в уши – это было за просто. Связываться с настолько непредсказуемым противником (он на самом деле мог потом отомстить упавшим кирпичом на голову) никто не захотел, и его оставили в покое. Я стал единственным, с кем он общался. Учился он очень по-разному. Мог погрязнуть в двойках, но потом опомниться и закончить четверть на одни пятёрки. В общем и целом, он был троечником.

Для Вали не существовало табу не только в драках, но и вообще. Для него не существовало каких-либо ненормальностей, как не существовало норм или, скажем, такта. Например, на уроке литературы учительница Валентина Вячеславовна, о которой я рассказывал в заметке «Учителя», читала стихотворение Пушкина «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я». Стоит гробовая тишина, а Валентина Вячеславовна драматично-романтическим голосом вопрошает:

— Какие мысли пришли бы вам, если б вы нашли в книге вот такой засохший, давно забытый и невесть каким образом попавший туда цветок? — И открывает томик Пушкина на этом стихотворении, вынимая действительно лежавший там между страниц сухой тёмно-красный цветок. — Что бы вы сделали?

— В воду бы поставил, — прорезает патетическую тишину голос Вали.

— Пшёл вон, — тихо говорит учительница, не меняя тона и не поворачивая головы.

Валя встаёт и выходит.

Или вот ещё. Как-то на уроке английского языка нам задали диалог, который нужно было вести прямо в классе с соседом по парте. Предполагалось, что один из двоих переехал на новую квартиру, а второй задаёт ему на этот счёт вопросы. Валя задал мне вопрос: "How many klops and takans do you have...". Закончить вопрос он не успел, потому что мы оба разразились конским ржанием.

Англичанка разоралась на нас, а особенно — на меня. Дескать, я целую четверть проболел, так лучше б я и дальше сидел дома, потому что я срываю учебный процесс: ведь и без того язвительный и лишённый такта и тормозов Валя в моём присутствии окончательно слетает со всех катушек. Потом её внимание переключилось на Валу, который, как выяснилось, «своими лохмами расхолаживает весь класс». Она указала на закрытые волосами Валины уши и патетично воскликнула: «Вот это что? На ушах у тебя что?» «Ваша лапша», — спокойно ответил Валя.

«Так, — сказала англичанка. — Сейчас оба вышли и оправились к директору. Скажете, что я вас направила. Живо, я кому сказала!»

Выходя из класса, мы натолкнулись на директрису, которая как раз проходила мимо. Та, увидев, что происходит что-то неладное, решила разобраться и зашла в класс.

«Ну, — сказала директриса, обращаясь к нам с Валей, —

значит, вам смешно. Так расскажите нам всем, мы все вместе и посмеёмся».

Валя повторил свой вопрос про klops and tarakans. Весь класс захохотал, директриса тоже прыснула от смеха, лишь англичанка продолжала стоять с каменным лицом.

«Конечно, – сказала она, когда директриса ушла. – Неразлучные друзья, ага. Рядом в журнале, оба срывають учебный процесс, оба сбегают с общественно-политических мероприятий, оба получают четвёрку на двоих за урок, оба принесут объяснительную от родителей и оба после восьмого класса отправятся в ПТУ. Уж я об этом позабочусь, будьте уверены. Оба в ПТУ пойдёте, оба! А ты, – показала она на меня, – а ты - особенно!»

«Как можно особенно пойти в ПТУ? - спросил я Валу, когда англичанка чуть остыла и отвела от нас взгляд. – Либо ты идёшь в ПТУ, либо нет. А особенно – это как?»

«Пойдёшь в ПТУ КГБ, – предположил Валя. – Получишь там права на чёрный воронок и на хлебный фургон».

Валя прекрасно знал, что мой отец был НКВДшником и ночами арестовывал «врагов народа». А я прекрасно знал, что отец Вали был репрессирован несовершеннолетним вместе семьёй уже после войны, в конце сталинского правления. Когда Сталин умер, его выпустили, но свою семью он уже больше не нашёл. Был реабилитирован, потом женился. О чёрных воронках рассказал мне отец по пьяни, а о хлебных фургонах – Валя.

Сидел он на всех уроках, кроме алгебры-геометрии, строго со мной. Перемены мы проводили вместе, шли после школы к трамвайной остановке тоже вместе. Главной темой для Вали были признаки полового созревания в их самом что ни на есть физиологическом смысле. Для него не существовало ни стыда, ни запретных тем. Он мог бесконечно говорить и рассказывать о том, что я сейчас не решился бы воспроизвести даже в блоге под замком. Мог подойти к уже знакомой нам физичке Валентине Олеговне и

сделать ей комплимент из репертуара законных мужей. Мог спросить меня о моих физических и физиологических ощущениях, связанных с пубертатом. В таком же, чисто физиологическом смысле интересовала его и любовь. Он упорно искал некий «запах женщины», который в его представлениях обязательно должен был существовать и который женщины перебивали духами и косметикой. В транспорт он всегда заходил последним, чтобы остаться стоять на ступеньке и как бы невзначай, случайно, касаться ног девушек и взрослых женщин в местах выше колен и наблюдать за их реакцией. Кстати, эта реакция поражала меня не меньше Валиных экспериментов. Никто не одёрнул его, не возмутился. Все подопытные либо делали вид, что ничего не происходит, либо едва-едва заметно улыбались даже не улыбкой, а какой-то едва уловимой её тенью.

В конце девятого класса дом, где жил Валя, снесли, чтобы расширить дорогу и трамвайную линию. Он переехал ещё дальше от школы, настолько далеко, что не смог закончить у нас учебный год. Каждый из учителей потом счёл своей обязанностью сказать, что «перекрестился, когда узнал, что этот охламон перешёл в другую школу». А мне его стало не хватать, хотя раньше он меня очень раздражал своей навязчивостью и натуралистическими эректильно-семяизверженческими разглагольствованиями.

Потом я случайно узнал, что Валю вскоре после переезда убили в поножовщине. Наверное, его противник был в драке ещё более отмороженным, чем он сам.

Вика

Когда я перешёл в девятый класс, то обнаружил, что некая Вика из десятого, которую я заметил ещё в прошлом году, за лето несказанно похорошела. Черноброва-черноока, с роскошными волосами до лопаток, обворожительным разрезом глаз, стройная и изящная, как горная козочка – она заставляла меня смотреть на неё не отрываясь, иногда отвечая загадочной волшебной улыбкой. Я решил познакомиться с ней. Но как?

К счастью, к нам в класс из другой школы перевелась некая Таня, сразу же приглянувшаяся многим парням и немедленно завоевавшая титул первой красавицы школы. Она была совершенно не в моём вкусе и не пробуждала во мне ни малейшего интереса. И вот, однажды ко мне на перемене подошли несколько десятиклассников (почему ко мне – не понимаю до сих пор), среди которых был Кирилл – школьный альфа-самец. Кирилл дал мне какую-то бумажку, оказавшуюся запиской для Тани. Кроме того, я должен был передать ей что-то на словах.

Я выполнил поручение. Что там ответила Таня, история умалчивает, да это и неинтересно. Главное, что я понял, как можно познакомиться с Викой – конечно же, через компанию Кирилла. Я предпринял все усилия, пообещал ему делать в будущем кое-какие задания по математике (программу десятого класса уже знал наизусть, так как готовился к поступлению на математический факультет университета), стал проводить в их компании перемены, идти с ними после школы домой. К моему удивлению, меня восприняли совершенно серьёзно, а не как маленькую обезьянку, путающуюся под ногами. Вскоре я был практически принят в компанию, а ещё через некоторое время произошло событие, которого я так ждал и ради чего затеял весь

этот проект с Кириллом: объявили выезд на картошку. Собственно говоря, десятые классы обычно освобождались от уборочной, но народу у нас было мало (два неполных девярых и два неполных десятых класса, которые не соединили каким-то чудом), и на поле отправили всех.

С помощью Кирилла удалось уговорить завуча, чтобы я поехал на уборочную не со своим классом, а с тем самым десятым. В назначенный день я пришёл в школу очень рано – с ведром, в сапогах и с выпрыгивающим из груди сердцем. Люди подтягивались, только Вика всё не появлялась. У меня аж шея заболела, так я её вытягивал, выматывая Вику. Когда все были в сборе, классная руководительница класса провела короткую переключку. «Опять сачкует, — сказала учительница про Вику. — Ничего, картошка у нас всю неделю, посмотрим, какую справку она на этот раз притащит.»

В автобусе я поспрашивал Кирилла и его друзей о Вике. Когда парни поняли, в чём дело, то дружно расхохотались. «Да это такая дура, — объяснил Кирилл, — какую ещё поискать надо. Дебилка конченная. Её спрашивают на астрономии, а она начинает отвечать по физике, да ещё и неправильно. Почему по физике? Так учительница-то одна и та же! Как ляпнет что – никакого Райкина не надо. Учителя от неё стонут, а мы только прикалываемся. Если б не папаша из горкома, она бы ещё в пятом классе была в спецшколе.» «Меня она вообще бесит, - подал голос один из одноклассников. - Вообще ничего не понимает, не сечёт ни в чём, дура набитая - и тройки получает. Я учу-учу - тоже тройки. Спрашиваю, почему у нас обоих тройки. Отвечают, что у неё тройка натянутая, а у меня - твёрдая. Класс! Ну, так бы в аттестат и написали потом.» Оказалось, что и обалденную загадочную улыбку можно наблюдать каждый раз, когда её о чём-то спрашиваешь. Неважно, по уроку или просто так. Она не в состоянии ответить что-либо адекватное и поэтому только улыбается.

Короче, Вику размазали по стенке так, что желание знакомиться с ней улетучилось. В конце, концов, я сам стал бы посмешищем, вздумай я с ней встречаться на виду у всех и после того, что о ней узнал.

А после уборочной произошёл ещё один случай. Вика вдруг появилась среди урока в нашем классе, чтобы забрать классный журнал. Пожилая учительница дала ей журнал, а когда та вышла, сказала, что рада, что уходит на пенсию не с этого года, а со следующего. В этом году она ещё увидит, как Вика, наконец-то закончит школу. Хочет дожить до этого момента.

На том историю можно было бы считать законченной, если бы не один эпизод. Через год или два после окончания школы, летним солнечным днём я случайно встретил Вику в безлюдном переулке в самом центре города. Она ещё больше похорошела и превратилась в ослепительно красивую девушку – просто дыхание захватывало. Мы оказались на одном тротуаре, наши глаза встретились. Вика улыбнулась мне всё той же завораживающей улыбкой и даже, как мне показалось, замедлила шаг. Давала мне шанс? Всё решали какие-то секунды. Я улыбнулся в ответ, и мы разошлись. Решил, что мне показалось.

А вдруг не показалось?

Ира

Её мама работала заведомом обкома партии и воспитывала дочь одна. Ира была круглой отличницей и не то, чтобы очень красавицей, но симпатичной и в моём вкусе.

Было это в третьем классе. Нас оставили после уроков на классный час. Перед его началом я подошёл к Ире и предложил дружить. Ира согласилась, хотя оба мы не имели ни малейшего представления о том, что это такое и как это будет выглядеть. За словами ничего, вроде бы, и не последовало. Мы приходили в школу порознь и уходили так же. За одной партой мы не сидели ни дня. Но с тех пор Ира иногда улучала момент и ни с того ни с сего выдавала мне такие интимные тайны, что я не знал, как на это реагировать. Потому что таким и с подругами-то не всегда делится, а с мальчиками — тем более. Но Ира нисколько не смущалась, доверяла мне страшные секреты и просила совета в сложных и щекотливых ситуациях.

А ещё мы решили вопрос публичного дарения подарков в классе на самые ненавистные советские праздники 23 февраля и 8 марта. 23 февраля все мальчики выходили к доске, а девочки дарили им заранее приготовленные подарки. 8 марта роли менялись. Этот момент мы и использовали. 23 февраля Ира при всех отдала мне свёрток, который я через две недели возвратил ей в целости и сохранности. На следующий год и далее тот же самый свёрток совершал такие же путешествия. Что в нём было, я не знаю, у меня не было ни малейшего желания поинтересоваться его содержанием.

В последнем классе я перешёл в другую школу, и мы с Ирой как-то незаметно для нас самих потерялись. После школы мы случайно виделись всего три раза. Последний раз — за несколько недель до моего отъезда за границу.

Встретились на улице и провели несколько часов в рассказах и разговорах.

Она поведала о своей жизни – невесёлой и никак не достойной бывшей звезды самой престижной школы города, отличницы, комсомолки, пусть и не спортсменки. Спокойно, безо всякой протекции поступила в медицинский, куда ломилась половина города. После института распределилась в поликлинику. Медицина явно была не её призванием. Она страдала сама и мучила больных. Иру перевели в стационар, но и там быстро поняли, что подпускать её близко к больным нельзя. Тогда её назначили исполняющей обязанности заместителя главврача по стационару, какое-то время она поработала там, а затем перешла в горздравотдел, где и пребывала на момент нашей встречи. Работа Ире не нравилась, но на этот счёт у нас было одинаковое мнение: нужно же где-то работать.

С личной жизнью у неё тоже не сложилось. Муж обьелся груш. Потом последовало ещё несколько разочарований, на том всё и закончилось. После одного кошмарного опыта пришла полная асексуальность. Сильно похудевшая бывшая заводила класса выглядела потухшей. В ней не было той неукротимой энергии, к которой я привык за столько лет.

Я тоже рассказал про свою жизнь, которая была лишь ненамного богаче событиями. Поговорили, повспоминали, порассуждали. И это был единственный в моей жизни случай, когда я понимал другого человека с полуслова, а он понимал с полуслова меня. Будто и не было многолетней паузы, словно мы виделись каждый день. Удивительное ощущение, как если бы мы ничего не рассказывали заново, а лишь коротко повторяли то, что и так давным-давно знали друг о друге. Просто для риторики.

А перед самым прощанием у подъезда её дома, мы признались, что оба искали неизвестно что, неизвестно кого и неизвестно где, хотя то, что нам было нужно, все эти годы

находилось рядом, надо было только открыть глаза и посмотреть. Мы самым дурацким образом прошли мимо друг друга, и возможно, что каждый из нас упустил свой единственный шанс.

Она взяла с меня обещание позвонить ей в день, когда я буду уезжать. Обещание своё я сдержал. И по телефону оба мы синхронно, в одну и ту же секунду, сказали одно и то же: что нам очень жаль, что всё так глупо получилось.

Боря

В компании за столом я встречал Новый год ровно два раза. Первый раз – на первом курсе, мы собирались у кого-то всей группой. Что и как там было, я давно запомнил. Помню только прогулку по ночному городу, закончившуюся для меня очередным бронхитом в разгар сессии.

А вот второй раз – он был через год – я запомнил прекрасно. Собирались мы у некоего Бори. Это сейчас он известная и даже публичная личность. А тогда он был страшненьким, низкорослым и рыхлым мальчиком с жиденькими волосами. Девушки не воспринимали его всерьёз как объект, из-за чего он жутко комплексовал. Однажды я решил его утешить и сказал, что у меня, вот, тоже нет девушки, так я уж который раз со счёта сбиваюсь, пытаюсь сосчитать сэкономленные на этом нервы. На что Боря сказал, что между «ты не хочешь» и «тебя не хотят» разница всё же есть. В то же время он полагал, что мужчин любят не за красоту, и стал действовать другими методами. Он собрался стать популярным и уважаемым, в результате чего девушки должны были бы его полюбить. Надо сказать, что цели своей он достиг. Он стал популярным и уважаемым. Годам к пятидесяти. Тогда же его полюбили и девушки. На одной из них, двадцатилетней красавице, он и женился. Того момента, когда ему давали двадцатилетние девушки, он дождался тридцать лет.

Встреча Нового года в его большой сталинской квартире была частью сценария приобретения уважения и популярности. Родители Бори заблаговременно ушли, полностью предоставив сцену ему и его друзьям. То есть, нам.

Собрались мы часов в семь или восемь, хотя народ подтягивался и позже. Когда стол был готов, все уселись и начали пиршество по случаю проводов старого года. Были

тосты, были анекдоты, были интересные и смешные истории про общих знакомых и незнакомых. Стоял перманентный хохот, и я почувствовал то, что и ожидал почувствовать, а именно смертельную скуку. Ко всему прочему, на меня свалилась неприятность в виде насколько смазливой, настолько же и неприятной девушки по имени Надя. Она подседа ко мне и начала настоящий допрос. Как меня зовут? Кто мои родители? Где я живу? Где учусь? Что собираюсь делать после учёбы? Правда ли, что у меня органы наоборот? (Правда.) Кто разрешил мне отрастить такие волосы? (Стал бы я у кого-то разрешения спрашивать.) Где я покупаю такие модные тряпки (у нас так шмотки назывались)? Я не фарцую? (Нет.) Может, я знаю приличного фарцовщика? Я отвечал неохотно и односложно. Вскоре Надя настолько обнаглела, что выпалила: «Я что, так и буду по слову из тебя вытягивать?»

Меня спас бой часов. Все поздравили друг друга с Новым годом и выпили по этому поводу. Вот тут-то моё существо включило блокировку, которую оно включает в шумных компаниях или при избыточном общении. Происходит это всегда одинаково. Сначала на меня нападает невыразимая щемящая тоска, прям до слёз. А потом чувства притупляются, звуки становятся глуше, пропадает концентрация внимания и происходит деперсонализация: я вижу себя как бы со стороны в роли кукловода, управляющего моим телом и разговаривающего через него. Это очень мерзкое ощущение, лечится оно только сном или хотя бы покоем. К тому же появилась опасность, что Надя снова вспомнит про меня и продолжит допрос.

Я встал из-за стола, прошёл на кухню, выпил холодной воды из-под крана и собрался даже потихоньку уйти, но в последний момент передумал. Моё отсутствие по закону подлости могли обнаружить, например, та же Надя, и Боря сильно бы обиделся. А я был слишком воспитанным мальчиком, чтобы позволить себе такое. Но и возвратиться за

стол я тоже не мог: веселье стало меня раздражать, так что приходилось делать заметные усилия, чтобы подавить нарастающее бешенство.

Тут я обнаружил комнату с полуоткрытой дверью. В комнате стояли битком набитые книжные шкафы, а у окна располагалось шикарное кресло. Рядом находилась большая ламповая катушечная магнитола.

Я сел в кресло и расслабился. Свет зажигать не стал. Мерзкие ощущения стали потихоньку уходить. Я включил магнитофон. На плёнке были выступления Жванецкого, о котором я доселе и слыхом не слыхивал. Когда Жванецкий закончился, я переключился на радио. Передавали «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» - эту передачу пускали в эфир только в новогоднюю ночь. Так я и просидел до утра. В шесть часов заиграл гимн Советского Союза, после которого я выключил радио и обратил внимание на тишину снаружи.

В гостиной и на кухне горел свет, а присутствующие все до единого дрыхли мёртвым сном. Свет горел и в запертом изнутри туалете, откуда доносилось чьё-то мерное сопение. Я откопал свою дублёрку (так назывались тогда ямщицкие тулупы вроде моего), шарф и шапку. Оделся и погасил свет на кухне и в гостиной. В этот момент я сформулировал имени меня. Это уравнение является следствием законов сохранения массы и энергии и читается так: «Человек – это разница между съеденным и высранным». После чего ушёл, тихо закрыв за собой дверь.

До дома было минут пятнадцать-двадцать ходьбы быстрым шагом. Там я почистил зубы и завалился спать.

А Боря стал широко известным в узких кругах театральным режиссёром. Поиск в интернете выдаёт несколько десятков страниц с его именем. Работал по всей стране – от Москвы до Владивостока. Женился на артистке в два раза моложе себя, на старости лет сделал двоих детей. Вот так.

Денис

После успешной сдачи вступительных я предпринял свою первую самостоятельную поездку в Москву, где жил у знакомых. В первый же вечер их дочка Валя взяла меня с собой на день рождения некого Дениса, которому исполнилось двадцать лет. Самому мне в то лето исполнилось семнадцать, так что возраст в двадцать лет, казался мне совершенно недостижимым и почти пенсионным.

Мы приехали в центр и поднялись на этаж огромного сталинского дома. У нас в городе таких домов вообще никогда не было, так что я смотрел на них, как на музейные экспонаты. А тут ещё довелось и оказаться в квартире одного из них. Фантастика. Кино.

Юбиляр оказался высоким, идеально сложенным блондином с тёмно-синими, бездонными глазами и невероятно красивым лицом. Даже на обложках глянцевого журналов такие попадались нечасто. Вскоре выяснилось, что он прекрасно разбирается во всех видах искусства и знал чуть ли не наизусть все художественные альбомы и бесчисленные грампластинки, которыми была набита их гигантская квартира. Так что мне он казался тогда не то сказочным эльфом, не то инопланетянином.

Его коллекция грампластинок меня особенно заинтересовала, так как вообще-то я собирался быть музыкантом, только это пока не складывалось. Но интересоваться музыкой, особенно композиторами XX века, я продолжал и дальше. Моим любимым композитором тогда был Малер, а пластинку оперы Берга «Воццеck», имевшуюся в нашей областной библиотеке, я заслушал до дыр. Когда я сказал об этом Денису, тот с ходу выдал мне массу «нештатной», «внеклассной» информации по Малеру и Новой венской школе. Сказать, что я был в шоке – ничего не сказать. Но

настоящий шок я пережил в конце вечера, когда он пригласил меня к себе уже безо всякого дня рождения, просто так.

До самого отъезда домой я бывал у Дениса каждый день. Не могу сказать, что сразу же после того я стал завсегдатаем художественных музеев, но, по крайней мере, осознал существование изобразительного искусства, а также то, что я просто в нём ничего не понимаю, потому и не замечаю его вовсе. Мы пересмотрели огромное количество альбомов, были в нескольких музеях, причём проходили туда всегда со служебного входа, без очереди и билетов. Оказалось, что Денис знаком и с настоящим зарубежным кино, потому что посещал разного рода закрытые кинопоказы для специалистов и посвящённых. Вот только театр он как-то не особо уважал.

Происходил Денис из знаменитой театральной семьи с давними и богатыми традициями. Отправившись по стопам родителей, дедушек и прабабушек, он поступил в театральное училище, куда его приняли из-за фамилии и внешности. В училище он тут же проявил себя как абсолютная бездарность. Сначала его не решались отчислить за профнепригодность, а потом уже не смогли. Дело в том, что он вёл в училище серьёзную общественную работу. Он организовывал лекции крупных искусствоведов, киносеансы, посещения запасников знаменитых музеев, приглашал художников и скульпторов, сам выступал с музыкальными лекциями и так далее. Поэтому комитет комсомола и слышать не хотел ни о каком отчислении, а по общественным предметам у него были сплошные пятёрки.

Но это выяснилось потом. А в тот год я едва дождался зимних каникул, чтобы снова поехать в Москву и встретиться с Денисом. И именно в этот приезд состоялся у нас странный (по крайней мере, странный для меня, воспитанного в семье железобетонного сталиниста) разговор.

Не знаю, как мы подошли к этой теме, но сказал он примерно следующее. Вот кто, скажите на милость, заставляет

писателей, композиторов или актёров-режиссёров подписывать всякие коллективные письма поддержки-осуждения? Ведь потом, через годы многое забудется, а факт подписания - никогда. Мало того, общественная точка зрения на то или иное событие может поменяться за это время на ровно противоположную, что было не раз и не два. А главное – ведь если не подписывать, то ничего за это не будет. Даже при Сталине многие отказывались от подписи, и с ними ровно ничего не случилось. И при Гитлере тем, кто не орал «Хайль Гитлер», тоже ничего не было.

Меня несколько ошарашило сравнение Гитлера и Сталина, первое в моей жизни, и я напомнил Денису про концлагеря. Он ответил, что туда Гитлер отправлял своих открытых противников, но не тех, кто лишь не поддерживал его активно. И Сталин никого не садил на неподписание какой-либо петиции. А нынче вообще практически никого уже не сажают и не преследуют. Идеология скисла, сказал он. Так что сейчас нет вообще никакой причины что-то подписывать. А подписывают, потому что холоуи. Вся советская интеллигенция – холоуи и лакеи. А откуда взяться другой, когда революция всех нормальных людей уничтожила. Вот и воспитали новую, советскую интеллигенцию из холоуев и лакеев, которые были никем, а тут вдруг стали всем. Раньше самому Шаляпину устроили бойкот за то, что он однажды в порыве чувств встал на колени перед царём. Есенин под угрозой отправки на фронт отказался писать оду в честь царя. А Глазунову не простили сотрудничества с советской властью, многие брезговали подавать ему руку, так как эту руку пожимал Ленин. Вот это были принципы, вот это было достоинство интеллектуальной элиты! Быть не с властью, а вне власти, вне государства – это и есть основной закон настоящей интеллигенции.

Государство, сказал Денис, монополизировало финансирование всех видов искусств, включая театр и кино. А всё только для того, чтобы идеологически контролировать

культуру, чтобы никто не чувствовал себя независимым, чтобы все гнали пургу, экранизировали лениниану и ставили спектакли про Дзержинского. И творческие союзы организовали, загнали туда всех творческих людей и чтоб там ни-ни!

Это была уже оголтелая антисоветчина, но сравнение Сталина и Гитлера меня потрясло больше всего.

С Денисом мы встречались ещё не раз, не два и даже не три, с каждым разом он становился всё откровеннее, но тот первый разговор «про это» отпечатался в памяти особенно чётко. Из последующего я запомнил только то, что Сталин уничтожил примерно столько же людей, сколько собственно война, и что он многие годы сотрудничал с Гитлером, собираясь поделить с ним Европу, но тот решил сам справиться с его делом, как Бендер сам решил справиться с делом Воробьянинова. Кстати, Денис дал мне почитать уникальное подпольное издание дилогии Ильфа и Петрова без купюр. Эти два романа оказали на меня такое влияние, что у меня даже устная речь изменилась. Это заметили окружающие, только не могли понять, с чего бы это.

Актёром Денис, естественно, не стал. После училища родители устроили его в театр литературным сотрудником. Однажды он снялся в качестве фотомодели для каталога советских товаров, а вскоре отправился представлять советские товары на какой-то выставке в Швеции, где благополучно и остался.

Таня

На фортепиано я учился играть у одной преподавательницы музыкального училища, которую я так и назову: Преподавательница. Занималась она со мной два раза в неделю. Следующей по расписанию приходила на занятия некая Таня, учащаяся фортепианного отделения, у которой Преподавательница вела спецпредмет, то есть, собственно, фортепиано. Таня была уже взрослой девушкой, заканчивающей образование после академического отпуска в связи с рождением ребёнка. Самого ребёнка – милое и совершенно безвредное создание женского пола – она почти всегда приводила с собой. Вскоре мама Тани вышла на пенсию и смогла присматривать за внучкой, так что Таня стала приходить на занятия одна.

Жили мы недалеко друг от друга. Сказать, что я каждый раз случайно задерживался, чтобы проводить её домой – погрешить против истины. Таня была намного старше меня, что само по себе разогревало мой интерес. Красивая, высокая, стройная, темноглазая, с обалденными длинными чёрными волосами, она была ещё и умной, образованной и с превосходным чувством юмора. Неудивительно, что я был ей буквально загипнотизирован. При этом у Тани было достаточно такта, чтобы общаться со мной на равных. Ни тени высокомерия, превосходства или тени снисходительности. Словно не было между нами разницы в восемь лет, словно не вступала она в лучший возраст женщины в то время, как я всё ещё не мог нарадоваться, что не надо больше ходить в школу. С ней было настолько интересно, что я даже забыл о любимом занятии тинейджера: копаться в своих чувствах и думать, влюблён я или нет.

Однажды мой урок закончился, а Таня не появилась. Преподавательница объяснила, что Таня попросила перенести свой урок на другое время.

— Держался бы ты от неё подальше, - вдруг посоветовала она. — Думаешь, я ничего не вижу?

— Ну, видите. И что? Почему это я должен держаться от неё подальше? — удивился я.

— Хотя бы потому, что она замужем.

— Как это, замужем?

— А вот так.

Конечно, я не верил в непорочные зачатия, так что наличие у Тани ребёнка само по себе предполагало мужчину рядом с Таней, по крайней мере, в самый ответственный момент. Мало ли кто с кем, когда и по какой причине. Но то, что Таня замужем, было для меня шоком.

— А кто её муж? — осведомился я.

— Лучше тебе не знать, — отрезала Преподавательница. — Говорю тебе, что она замужем и что тебе надо держаться от неё подальше. Оставь её в покое.

Когда я в следующий раз провожал Таню домой, я спросил её про отца её дочки. В смысле, кто он и где он сейчас. Она ничуть не смутилась, сказала, что этот человек числится её мужем, но они давно уже не живут вместе и вряд ли когда будут жить. Тем не менее, сказала она прямым текстом, что дружба дружбой, беседы — беседами, прогулки — прогулками, но ни на какие более-менее серьёзные отношения надеяться мне нельзя.

— Потому что мне лет мало? Потому что я пока не зарабатываю толком? Почему? — допытывался я.

— Это допрос? — поинтересовалась Таня.

— Нет, но...

— Ну, вот и хорошо. Прими это как данность. Только если ты на самом деле хочешь быть взрослым, начни с того, что не бери это на свой счёт. Ты сам тут совершенно не при чём. Ты правда очень хороший парень, с тобой

интересно, но есть обстоятельства. Просто пойми это. Кстати, мы пришли, тебе пора.

Нужно сказать, что, собственно, до её дома, в смысле, подъезда, мы не доходили ни разу. Расставались там, где наши траектории расходились.

Назавтра я зашёл к Преподавательнице вне расписания. Урока у меня в тот день не было.

— Что за тайны? Вы можете по-человечески рассказать, что происходит?

Преподавательница объяснила, что муж Тани до сих пор числится её мужем, хотя появляется крайне редко, так как почти непрерывно сидит в тюрьме. Таню он записал в свою личную собственность, когда ей было ещё лет 14 или 15. С тех пор все, кто серьёзно сближается с ней, имеют дело с этим уголовником. Пырнуть ножом для него – раз плюнуть. Он выходит из тюрьмы и сразу же наводит справки о Тане. И не приведи судьба, узнает про кого-нибудь. Так что она, как и сама Таня, не хочет, чтобы очередным кем-нибудь оказался я.

— Она на самом деле хорошая, умная и милая девушка, — заключила Преподавательница. — Мне она тоже очень нравится. Просто ей не повезло в жизни.

Я проводил Таню ещё пару раз, словно никакого разговора не было и никакой её тайны я не знаю, а однажды после урока пошёл домой, не стал её ждать.

Продолжение история получила через несколько лет, когда в Таню на старости лет втрескался по уши ни кто иной, как муж самой Преподавательницы. Не зная Таниного проклятия он не мог, но рискнул. Седина в бороду – бес в ребро. Хотя, в его ребро бес ударил в прямом смысле.

Преподавательницу муж бросил и переехал к Тане. Однажды он в пять утра куда-то отправился, но далеко уйти не смог – его затолкали в ближайшую телефонную будку и вставили в рёбра нож. Лезвие прошло около самого

сердца, не задев его, но крови вытекло много. Наверное, она вытекла бы вся, если б кому-то не приспичило спозаранок позвонить с этого самого телефона-автомата. Несколько месяцев незадачливый любовник провалялся в больнице. К жене – Преподавательнице – он всё же вернулся несколько лет спустя.

А дочка Тани стала известной на всю Россию спортсменкой. И ни в одной её биографии, в том числе и на Википедии, нет упоминания об отце. Ну, и не надо. Мама у неё замечательная, хорошо, что и дочка вышла в неё.

Неформалы

В начале 1980х в СССР стали появляться так называемые «неформальные молодёжные объединения». Никакими объединениями они на самом деле не были, а представляли собой то, то сейчас принято называть молодёжными субкультурами. На Западе всякие хиппи и панки существовали с шестидесятых и успели обстоятельно прижиться. В СССР же после стилиг четверть века стояла тишина, а потом началось...

Но не везде. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Свердловск и ещё парочка городов вроде Риги и какого-нибудь Краснодара. В нашем же типично захолустном Омске обо всех этих течениях можно было узнать разве что из «Комсомольской правды» или журнала «Рабочая смена» («Парус»). Позже про них стали рассказывать по телевизору в передачах типа «До 16 и старше». Еле-еле, со скрипом просочились в наш сонный город металлисты и их антиподы — «волнисты» (поклонники «новой волны»). Примерно тогда же завелись и немногочисленные брейк-дэнсеры. Панков и причёсок «ирокез» не было вообще.

Но даже такие скромные отклонения от мейнстрима вызвали в нашем застойном болоте сильнейшую аллергическую реакцию. Что характерно, неформальные течения больше всего действовали на нервы вовсе не взрослым дядям и тётям с депутатскими значками, а сверстникам.

В Москве в то время появились «любера» как реакция на чуждые советской молодёжи буржуазные веяния. В Омске тоже были свои «любера», которые, однако, никак не назывались. Не было у них ни названия, ни самоназвания. Они просто были и всё. Их функция, как они себе её представляли, была проста: бить каждого, кто осмеливался хоть немножечко выделиться из серой массы.

С течением времени безымянные псевдолюбёра продавали среди омских парней два вида формы одежды. Первый вариант: серые брюки, серые туфли, длинное серое пальто с серым шарфом и шапка неброского цвета. Второй вариант: телогрейка (тот самый ватник), ватные или лыжные штаны, валенки или боты «Прощай, молодость», на голове – вязаная шапочка или что-нибудь бесформенное. Девушкам разрешалось больше вольностей, но никаких боевых раскрасок, красных волос или заклёпок.

Танцы в клубах и домах культуры тоже контролировались самозванной полицией нравов. Танцевать, если это можно было так назвать, разрешалось только и исключительно стоя на месте, засунув руки в карманы и выбрасывая вперёд поочерёдно то одну ногу, то другую. За любые отклонения били. Брейк разрешался только паре десятков парней во всём городе, которые занимались в специальном кружке брейк-данса в Доме пионеров.

Было и ещё одно движение протеста: так называемые «формалы» как противоположность «неформалам». Формалы никого не обижали и никого ни к чему не принуждали. Самовыражались они подчёркнутой верностью советским порядкам. Они носили стандартные причёски, слушали только советскую эстраду, носили одежду только отечественного производства, включая школьную форму даже вне школы, не курили, не матерились и иногда пытались вести комсомольскую работу, насколько это было возможно во времена всеобщего пофигизма.

Полиция нравов до формалов не докапывалась. Неформалы посмеивались, но тоже не трогали. Школьная форма, выцветшая «олимпийка» фабрики «Большевичка» с неизменной надписью «Спорт», аляповатое клетчатое пальто с искусственным воротником, сапоги фабрики «Скороход» и всё в этом роде служило своего рода охранной грамотой в любом районе города.

Формалы олицетворяли конформизм в его чистом виде. Некоторые из них были убеждёнными пионерами-комсомольцами, которых всё в стране устраивало, в том числе и пустые магазины. Потому что чтобы наполнить магазины, надо поменять страну так, что лучше уж пусть они будут и дальше пустыми.

Некоторые боялись перемен, даже в себе. Боялись выйти из зоны комфорта, даже если им там было не очень комфортно. Боялись выделиться из серой массы, боялись внимания, возможных конфликтов в школе или дома.

Были и такие, которым «неформальство» было элементарно не по карману. Одна лишь кожаная куртка с заклёпками вызовет только насмешки. К ней надо и штаны соответствующие, и сапоги, и причёску, и всякие браслеты с цепями. Может, не так и дорого, но у них и этого не было.

Сам я числился формалом, но чисто формально, извините за каламбур. Тусовки, неважно чьи, наводили на меня жуткую скуку. У меня были свои интересы и увлечения. С формалами я на всякий случай общался, даже с девушкой-формалкой встречался. Одевался «как положено», во всё советское и тусклое. Это ничего не сигнализировало. Я лишь не хотел получить «в рог» от очередных «люберов». Да, конформизм чистой воды: буду делать как надо, только оставьте меня в покое. Протест, бунтарство, улучшение мира, переделка общества и поиск пути к всеобщему счастью – это не про меня.

Вскоре я вышел из подросткового возраста, и проблема «правильного» прикида и принадлежности к «правильной» стае потеряла свою актуальность. А вот братик успел по-неформальничать по полной программе и со всеми вытекающими, после чего стал одеваться по первому варианту установленной полицией нравов формы одежды.

Царица наук

Началось всё с того, что лет в тринадцать я увлёкся астрономией. Читал всякие книжки, мастерил телескоп по книге Навашина «Телескоп астронома-любителя», рассчитывал эфемериды затмений и всё такое прочее. Были у меня и другие увлечения, но это занимало особое место.

В старших классах, когда, как говорил отец, «стал приобретать актуальность вопрос профориентации» (он всегда выражался высокопарно, например, не «картошка», а «картофель», не газеты, а «периодическая печать», не лампы, а «осветительные приборы» и так далее), мы стали задумываться о том, что мне делать после школы. Конечно, никакого факультета астрономии у нас не было, зато были матемфак и физфак. По непонятной мне до сих пор причине оставались почему-то на математике, а не на физике.

При университете существовало так называемое НОУ (Научное Общество Учащихся), которое проявляло себя в том числе и в качестве ЧМШ - Четверговой Математической Школы. Как полагалось в СССР, всё совершенно бесплатно. Занятия в ЧМШ проходили, как можно заключить из названия, по четвергам. Вечером, четыре академических часа. Первые два часа - лекция штатного университетского преподавателя, вторые два часа - решение всяких задач, этим занимались уже студенты.

Летом желающие ехали в летний математический лагерь. Я там тоже разок был, расскажу позже. В ЧМШ я ходил три года - с восьмого по десятый классы. Официальным руководителем НОУ и, соответственно, ЧМШ был кандидат физико-математических наук, которого я буду здесь называть Ф. Именно этот Ф. и был тем самым куратором курса из предыдущего поста. Это сейчас он олигарх

и крутой бизнесмен, а тогда был хоть и известным, но всё же обычным доцентом.

Отец очень хотел, чтобы я пошёл на матфак. Сам он страдал от комплекса несбывшейся мечты – он страшно хотел получить учёную степень, но его врождённая хаотичность и бессистемность не позволила ему это сделать. Он бросал дела на полпути, почти ничего не доводил до конца, быстро загорался и быстро охладевал. Таким людям диссертацию написать крайне сложно. Я был его полной противоположностью и воплощением всех его надежд. Кроме того, он был уже старым (меня он сделал в 50 лет), боялся не дождаться моей учёности, а в математике диссертации, как известно, защищают очень рано.

Оказалось, что мы с Ф. жили буквально через дом и часто виделись. Бывало, что мы часами стояли на улице, поглощённые дискуссиями. Только сейчас я удивляюсь, сколько же времени он на меня потратил.

Ф. читал у нас что-то прикладное. Что именно – не помню, вообще предметов не помню, но помню, что преподавателем он был невероятно требовательным. Сдать ему с первого раза удавалось немногим, в числе этих немногих стабильно был и я. Не потому, что мы были на короткой ноге, а потому что к его экзаменам и зачётам я готовился на полном серьёзе. Пятёрки он тоже ставил, даже при пересдаче, но такой чести я от него так и не удостоился. Сдавал строго на четвёрки.

Математика мне никогда не нравилась. Я не понимал, как выражение, решение или доказательство может быть "красивым". "Докапываться до решения" я ненавидел. Никогда такого не было, чтобы я решал что-то помимо обязательной программы или заданий. На факультете была масса секций по интересам. Ни на одной из них я ни разу не был, так как меня ничто из предлагаемого не интересовало, как не интересовало всё, каким-либо образом связанное с математикой. Я лишь стоял в живой очереди за

дипломом и думал, как бы отвертеться от обязательного тогда распределения.

Меня увлекла музыка. Я часами слушал пластинки, не пропускал ни одного стоящего концерта, довольно живо играл на фортепиано, сочинял пьесы и даже выступал. День ото дня становилось яснее, что мне не хватает профессионализма, академической школы. Надо было учиться. Но бросать университет на полпути не хотелось, да и музыка – тоже так себе профессия.

Последние летние школьные каникулы перед десятым классом запомнились "математическим лагерем", который организовывался матфаком университета и прилегающим к нему НОУ - Научным обществом учащихся. Сейчас НОУ разрослось до общегородских масштабов, а раньше оно ограничивалось одним универом. В течение года НОУ существовало как «четверговая математическая школа», где по вечерам будущие абитуриенты вместе с преподавателями (настоящими доцентами и профессорами) и студентами универа грызли, так сказать, гранит науки наук. А летом вся компания отправлялась на природу. Там в первой половине дня читали лекции, а после обеда шли так называемые "семинарские занятия", где четыре академических часа (с перерывом) надо было решать задачи. Вечером была культурная программа.

Жил я там в комнате на шесть или семь человек. И вышло так, что моим соседом стал некий Илья. Он был жутко умным, перескочил в своё время через класс, а потому был младше всех в сезоне. Что, однако, его совершенно не смущало. От него шла какая-то энергия, невидимая сила, которая позволила ему в первый же день стать главным авторитетом в лагере. Многим он раздавал клички, остальных, в том числе и меня, называл по имени.

Оказалось, что Илья был ни кем иным, как сыном того самого Ф., о котором я рассказывал выше. Его отец был у нас руководителем заезда.

Я никак не мог понять, как Илья строит всех в линейку. Он никогда не повышал голос, крайне редко матерился, за весь месяц ни разу никого не ударил. Но распоряжения отдавал таким тоном, что не выполнить их было невозможно. И что характерно, никто ни разу не задал вслух вопрос, с каких это шей этот пацан, что на год или даже на полтора младше всех, с первой же минуты после расселения стал командиром. Нет, его отец был тут как раз не причём. Никакой администратор не заставил бы целый жилой корпус беспрекословно подчиняться своему сыну, да так, что о восстании даже не задумывались.

Погружение в особо тёмные математические глубины – семинарские занятия – проходили в нескольких группах (то ли в четырёх, то ли в пяти), поэтому моей задачей было пересидеть это время где-нибудь в лесочке, вне области видимости, не боясь, что меня хватятся. На лекциях я присутствовал всегда, а на семинары шёл, но по пути незаметно "терялся".

Однажды в том лесочке меня ждал сюрприз в виде незнакомых деревенских парней. Они пришли из соседней деревни на разведку, чтобы потом, как они сами признались, показать городским, где раки зимуют. Не из ненависти или зависти, а просто от нечего делать.

Надо сказать, что меня в жизни никто ни разу не ударил. Как и я кого-нибудь, кстати. Конфликты были, но у меня получалось урегулировать их без рукоприкладства. Так случилось и на этот раз. Первоначальное настроение у парней быстро улетучилось, они даже прониклись некоторым уважением к моей причёске. А в то время она у меня как раз разрасталась из классического mullet в нечто более внушительное, но не менее ухоженное. У деревенских же были просто бесформенные патлы, свисающие во все

стороны безо всякой системы. Оказалось, что в деревне каждый самовыражался, как хотел, никто не делал никаких замечаний. А в городе официально существовали две причёски: "канадка" и "полька", ничем друг от друга не отличавшиеся. Строже, чем в КНДР.

Я рассказал, что про сражение за свой прикид могу написать целую книгу "Mein Kampf", и пояснил, что каждый день после обеда маюсь тут дурью в ожидании окончания семинара и начала культурной программы. Вот только сегодня и с культурной программой выходит облом: запланирована лекция про симфонический рок и прослушивание рок-симфонии. А я рок органически не переносю в любом виде.

Парни сильно удивились: неужели мне и Битлы не нравятся? Я честно ответил, что не знаю, потому что ни разу их не слышал. Надо мной только посмеялись. Даже не смеялись, а ржали как лошади. Договорились, что я их сегодня вечером проведу на лекцию-концерт, а завтра в это же время приду к ним в деревню послушать Битлов. Магнитофон они с собой принести не могли, так как не было дефицитных батареек.

На следующий день я появился в деревне и нашёл указанный дом. Вскоре нарисовались вчерашние парни. От концерта они были в восторге. Вытащили магнитофон с удлинителем и гитару. Включили Битлов. Они меня как-то не очень вдохновили, но признаться в этом я не посмел.

Ребята посетовали, что не могут подобрать аккорды к нескольким песням. Я объяснил, что это потому, что в России всё искусство было организовано итальянцами, а потому у нас итальянская гармоническая культура. А у англичан и американцев – совсем другая. То, что для англосаксов стандарт, для нас – разрыв шаблона.

Крэш-курс музыкальной грамоты возымел действие, и довольно скоро аккорды были подобраны. Сам я на гитаре

ни разу в жизни не играл, поэтому осуществлял, так сказать, общее руководство.

В дальнейшем я был в деревне ещё раз, стараясь не злоупотреблять гостеприимством. Но что характерно, песни Битлов настолько прочно закрепились в голове, что никак не хотели оттуда выходить. Прямо как знаменитое заклинание в голове пратчеттовского Ринсвинда. Исполнение исполнением, но мелодии авторы битловских песен сочинять умели. Вот такая волшебная сила искусства.

В качестве эпилога. На обратном пути в автобусе дружно пели песню "А всё кончается". Я слышал я её в первый раз и слов не знал. Обратил внимание лишь на то, что написана песня строго в итальянской гармонической традиции, так что подобрать аккорды деревенские парни смогли бы "с листа", как говорится.

Илья после школы поступил в университет, но не в наш, а прямиком в МГУ, на экономическую кибернетику. Экономика ему впоследствии очень пригодилась, так как его отец – парторг и декан – стал чуть ли не первым олигархом в городе. А Илья пошёл по его стопам и унаследовал отцовское дело – владеть третьей города.

На Youtube лежат несколько номеров из юбилейного концерта композитора Людмилы Лядовой (молодёжь про неё не знает, конечно) в Колонном зале Дома союзов. Знаменитая «Чудо-песенка», конечно, плюс фирменные оптимистичные песни про шахтёров-дровосеков-первопроходчиков. 60-летняя Лядова в лучшей форме, публика замечательно её принимает, позитив, энергия и веселье витают в воздухе и заряжают всех. Круто и со вкусом. Кто хочет, может посмотреть.

Примечательно, что концерт этот состоялся всего дней через десять после того, как этот же Колонный зал Дома союзов стоял, как тогда было принято говорить, «в траурном убранстве». Страна и всё прогрессивное человечество

прощались с Генеральным секретарём ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР, лидером мирового коммунистического и рабочего движения, неустанным борцом за мир во всём мире Константином Устиновичем Черненко.

На следующий день после объявления об этом печальном событии, наша местная партийная деятельница – старая незамужняя женщина с пониженной социальной ответственностью по кличке «Моржиха» – поставила меня и ещё одного студента в так называемую «траурную вахту». Надо было тупо стоять целый час с чёрными повязками около бюста Ленина в вестибюле. Смысл этого мероприятия Моржиха унесла с собой в могилу. Когда мы заступали на пост, я сказал своему товарищу по траурной вахте, что империалистические круги воспользуются горем советского народа, чтобы похитить гипсового Ленина. Диверсанты на нас нападут, а мы будем сражаться до последней капли крови, защищая гипс. Моржиха даст нам «Парабеллум» (это аллюзия на книгу «Двенадцать стульев», люди помоложе её не знают). Когда парторгша пришла проверить, как мы несём службу, мой напарник не нашёл ничего лучшего, как попросить у неё этот самый «Парабеллум», чтобы отстреливаться от врагов. Моржиха тут же ретировалась, а мы проржали всё время как лошади, чуть не лопаясь от смеха. Представляли, как будем сражаться за вестибюль и как оставим последнюю пулю – только не для себя, а для Моржихи.

Затем нас обоих вызвали аж в ректорат «разбирать наше возмутительное и недостойное комсомольцев поведение». Начальствующий товарищ сказал, что не понимает, как мы могли допустить свою выходку в такое важное и ответственное время, когда диплом уже показался в области видимости. То есть, не потому что идеологически неверно было ржать на похоронах Генсека, а потому что о

«дипломе надо думать» и потому что «взрослые мужики ведь уже, чесслово, я в вашем возрасте уже семью кормил».

Мы отделались десятью минутами формальных внушений за то, за что ещё несколько лет назад нас после месяца разбирательств исключили бы из комсомола с последующим отчислением. А так - положено было отреагировать, вот и отреагировали, чтобы Моржиха потом куда-нибудь не накапала. Пофиг уже были и генсеки, и КПСС, и всё, что к ним прилагалось. И нам, и всем остальным, так что в Колонном зале Дома Союзов тут же поставили назад кресла, чтобы Лядова смогла спеть и насвистеть свою «Чудо-песенку».

Непросьяхающая страна перевернула страницу и начала последнюю главу своей истории.

В общем же и целом, университет прошёл мимо меня. Отдельные преподаватели в памяти запечатлелись, а студенты – почти нет. Вспоминается разве что комсоргша то ли курса, то ли факультета. Имя её забылось окончательно, помню только, что она была густо усыпанной перхотью брюнеткой, носившей непонятно какого десятилетия однотонные платья самых ядовитых цветов. И ещё у неё постоянно воняло изо рта. У многих она вызывала чисто физическое отвращение, я исключением не был. К несчастью, она постоянно до меня докапывалась, причём особым поводом для этого была моя манера одеваться. Современный стиль *urban/street* в Америке уже тогда получил распространение, но в СССР такое носили единицы, а в нашем городе – только я, наверное. Толстовка с капюшоном «Champion» была настоящим инопланетным артефактом.

Однажды она затащила меня в какую-то неизвестную мне доселе аудиторию.

— Ну, что ты выпендриваешься? — начала она допрос. — Чего ты добиваешься? Мало тебе, что ты официально признан самым красивым в универе? Чего тебе ещё надо?

— Ты совсем с ума прыгнула? — возмутился я. — Кто там официально признал? Кого? Где? И я выпендриваюсь? Это ты со своими комсомольскими деятелями до меня докапываешься с первого дня. Что вам от меня нужно? Я ни с кем не тусуюсь, компании у меня нет, друзей нет, девушки тоже нет. Не пью, не курю, всякими запрещёнными пластинками не обмениваюсь, рок не слушаю, терпеть его не могу. То, что я не фарцую, вы уже выяснили. Прихожу к звонку, ухожу сразу после занятий, учусь на четвёрки. Какого хрена вообще?

— Знаешь, что это такое? — комсоргша ткнула пальцем в надпись на моей шикарной майке с длинными рукавами. Надпись шла наискосок, начинаясь на поясе и заканчиваясь на плече на противоположной стороне. — Это идеологическая диверсия! Вот что это!

— И что там написано? — поинтересовался я.

— Да какая разница, что там написано! Там может быть зашифровано что угодно. Лозунг какой-нибудь антисоветский. Против нас ведут войну, это ты понимаешь, надеюсь. Идеологическую, холодную, но войну. Нам её навязали. Можешь себе представить, чтобы советские люди в войну носили фашистскую форму? Нет? А ты как раз и носишь форму нашего врага. И ещё спрашиваешь, что тут не так. Волосы отрастил... У девчонок и то причёски короче. Не по-комсомольски это!

— А что тогда по-комсомольски? — начал я и хотел продолжить: «Трясти перхотью и изо рта вонять – по-комсомольски?», но вовремя сдержался. Тема комсомола была для меня опасной, так как в школе я с комсомольского учёта снялся, а в универе так на учёт и не встал. — Ну да, брюки фирмы «Большевичка» и румынские клетчатые рубашки, у которых один рукав короче другого – это по-

комсомольски. И ботинки ортопедические. Рубашки я вообще не ношу ни в каком виде, что мне теперь голым ходить? Почему я не могу просто носить то, что мне нравится? Причём тут диверсии какие-то?

— А как все ходят? — не сдавалась комсоргша.

— Да наплевать мне, как все ходят! Пусть ходят, как хотят. Хоть в ватных телогрейках и в калошах, я-то тут причём? Отстань уже от меня.

— Да, у нас есть временные трудности с товарами широкого потребления, — призналась комсоргша. — Но это в том числе и потому, что некоторые, — она сделала на этом слове ударение, — ...сам знаешь что.

— Что?

— Изнутри страну подтачивают и разлагают, вот что!

— Трудности у нас давно бы уже закончились, - неожиданно для себя сказал я, — если бы некоторые их не создавали. Наша страна — самая лучшая в мире, но без вас она была бы ещё лучше. — Я был убеждённым и страстным патриотом СССР и никак не мог понять, для чего нужна партия. Уже в наше время выяснилось, что Берия, а после него и Хрущёв тоже задавались таким вопросом и хотели отменить в стране КПСС, но оба плохо кончили.

— Это кто это «вы»? — завизжала комсоргша. — Да ты... Да тебя за это попрут из комсомола и из университета. Мы навели справки. Твой отец — уважаемый и заслуженный коммунист-интернационалист. Сражался с фашизмом лицом к лицу. Персональный пенсионер. Но сейчас ты перешёл черту, так что его авторитет тебе не поможет. Вылетишь отсюда только так, понял? Уж об этом я позабочусь.

— Напугала ежа голым задом, — усмехнулся я. — Перестать заниматься математикой — это моя мечта жизни. Только не говори, что на меня государство зря тратит деньги и что я тут занимаю чьё-то место, что кто-то вместо меня был бы счастлив тут учиться и всё такое. На факультете вечный недобор и конкурс 0,8 человека.

— И откуда ты только выпал? — безглаголиво поморщилась комсоргша.

— Уж всяко не оттуда, откуда ты, — мне всё это порядком надоело, и я отпустил тормоза.

— Вот же дрянь какая! Друзей у него нет, девушки нет. Да кому ты нужен! Сколько ж от тебя вони! На весь университет, — рывкнула она и открыла дверь.

— Вони? — переспросил я. — Уж насчёт вони, чья бы корова мычала.

Но комсоргша уже вышла.

— Чего вы там с нашей активисткой не поделили? — листая бумаги, нехотя заинтересовался Ф. — куратор нашего курса и парторг факультета, к которому я зашёл по какому-то пустяковому делу.

— Ничего, всё нормально, — как можно более безмятежно ответил я.

— Ну, я так и думал, что всё нормально, — спокойно сказал тогда ещё обычный доцент. — А будешь внимательнее — будет ещё нормальнее. Да? — Он вдруг оторвался от бумаг и пристально посмотрел на меня поверх очков.

— Да, конечно, — согласился я.

На том все последствия для меня закончились. Времена были не то андроповские, не то черненковские, но уж всяко не те, о которых влажно мечтают последователи секты великого менеджера. Комсоргша от меня так и не отстала, я лениво отмахивался от неё, как от надоедливой мухи. Если я и боялся последствий, то не в универе, а дома, в виде разборок с отцом-коммунистом-интернационалистом. А уже через много лет увидел свою историю в фильме «Стиляги» (2008). Там у главного героя была практически та же ситуация с его комсоргшей, вот только временами великого менеджера тогда воняло намного сильнее, чем в мои годы.

P.S. В школе за длинные волосы меня отправляли на освидетельствование в психушку, и один класс пришлось сдать экстерном. Так что претензии комсоргши были лишь небольшим дуновением ветерка.

P.P.S. Она пыталась ещё исправить меня через общественную работу, поручив мне создание в университете КИД (Клуба Интернациональной Дружбы). Прямо как в школе. Содержание работы КИД я должен был определить сам. Я сказал, что вместо интернационала занимались бы лучше дружбой народов СССР. Начали бы казахский язык учить что ли. Чтобы лучше соседей понимать и знать. От меня и отстали.

Лиза

Была у нас на курсе пламенная комсомолка Лиза, добровольно занимавшаяся идеологическо-патриотическим воспитанием всех подряд, а однокурсников-однотруппников – в первую очередь. От её активности уставали как студенты, так и преподаватели, но сказать никто ничего не мог. Идеологическая работа ведь! Раз в неделю, в субботу, когда все были мыслями уже дома, она по собственной инициативе устраивала политинформации и разъясняла нам внутреннюю и внешнюю политику партии. Говорила, что каждый на своём месте должен доблестно трудиться или учиться для укрепления могущества и обороноспособности нашей великой Родины. Каждую лекцию она заканчивала фразой: «И помните: если бы не гонка вооружений, навязанная нам американскими империалистами и их сионистскими приспешниками, каждый человек, я подчёркиваю, – тут она всегда многозначительно поднимала указательный палец, – не каждая семья, а каждый человек имел бы у нас отдельную трёхкомнатную квартиру».

Однажды я заметил, что ей, чистокровной еврейке, не пристало говорить о сионистских приспешниках. Она презрительно посмотрела на меня и ответила: «Советская власть решила в нашей стране национальный вопрос, создав новую историческую общность – советский народ. Так что национальности в СССР – вчерашний день». Кстати, меня она ни разу не назвала по имени, только по фамилии. И всегда смотрела с презрением. Она всех называла по фамилии и на всех смотрела с презрением. Поэтому и парня у неё не было – от таких старались держаться подальше.

Как-то она привела к нам на курс недавно демобилизовавшегося «афганца». Тогда тема «Афгана» была,

наверное, самой важной, постоянно обсуждалась, причём, непременно с тревогой, беспокойством и неодобрением. «Афганец» прочитал средней продолжительности лекцию, рассказал то, что от него ожидали, но когда студенты вышли с ним на улицу покурить (я присоединился ради интереса), то оказалось, что он – совершенно нормальный парень с нормальными мозгами. Там, на улице, он донёс до нас простую мысль, которая повергла Лизу в шок: в армию ходить не надо, хоть в Афган, хоть в Москву, а надо косить, идти в аспирантуру и вообще использовать любую возможность избавиться от почётной обязанности.

Многое ещё можно рассказать, в частности, про бесчисленные инициативы коллективных писем в стиле «одобрямс» и «осуждамс», но суть в том, что от этой бурной деятельности у окружающих реально болела голова. Тем более, что советская идеология к тому времени совершенно выдохлась и выродилась в пустую формалистику для отчётности, от светлой цели – коммунизма устали даже обкомы-горкомы. И тут эта Лиза!

Ещё один штрих. Узнав, что мне нравятся певицы Лариса Долина и Ирина Отиева, она поморщилась: «Это ведь джазовые певицы. Они никогда, понимаешь, никогда не будут популярными.» Словно непопулярные певицы не могут нравиться.

Короче, она делала то, что полагалось делать, показательно любила то, что положено было любить, и не менее показательно ненавидела то, что приказывали ненавидеть. Идеальный советский человек, замешанный на двуличии и вранье. Всегда идущий за толпой. Ведь все мы не то, что не верили ни в какой коммунизм и в сказки о трёхкомнатной квартире для каждого – мы не верили и в то, что сама Лиза в это верит. Потому что для этого надо было быть полным идиотом.

Наступила Перестройка. Новые ветры приносили новые веяния. Менялись векторы и шаблоны. И Лиза влилась

в сионистское движение, изучая иврит и агитируя за отъезд на Землю обетованную так же горячо и с такой же самоотдачей, как делала это на комсомольской работе. Потом она уехала в Израиль.

Однажды я наткнулся на её блог. Там, в основном, про Израиль, евреев, поиск корней, идишскую культурологию и так далее. Интересно вовсе не это, а то, что нашёл я блог через Гугл, когда искал по необходимости упоминания об одной ныне покойной нашей преподавательнице. С ней Лиза (и далеко не только она) всегда была на ножах. Преподавательница эта была тяжёлым инвалидом, её предмет – один из основных – фактически не вёлся. Лекции пропадали целыми месяцами, семинары проводились случайными людьми с улицы, причём именно там мы внимательно слушали и записывали всё подряд, так как это был наш единственный источник информации к экзаменам. Иногда лекции читались у преподавательницы дома, где царила невиданная антисанитария и где я однажды подхватил жуткую инфекцию, с которой месяц провалялся в больнице и которая дала хроническое осложнение. Лиза вела безуспешную борьбу за нормальное преподавание и была в данной ситуации абсолютно права.

Нынче же она упоминает покойную исключительно в превосходной степени, строго по имени-отчеству, называет её великим педагогом, взрастившим целое поколение, умевшим, несмотря на инвалидность, передать молодым бесценные знания, открыв для них сокровищницу своего опыта и научных наработок. Читать эту слащавую патоку было омерзительно, я уже чуть не закрыл страницу, как вдруг обнаружил подобные славословия в адрес другого преподавателя, а по совместительству – тем ещё подлецом. Именно по причине его скотства Лиза сцепилась с ним весьма серьёзно. Со мной тот человек тоже поступил по-свински, но таков был его стиль жизни. Называть его

сейчас прекрасным педагогом – значит, врать, причём так же яростно, как и рассказывать сказки о коммунизме.

Столько вранья, двуличия (или трёхличия - кто там разберёт), ханжества и беготни за стадом, что я подумал: останься она в России – была бы сейчас образцово-показательной патриоткой. Ведь считаешь биографии православнущих старшего поколения – сплошные бывшие пламенные борцы за дело Ленина, редакторы партийной прессы, инструкторы идеологических отделов, завкафедрами научного коммунизма и парторги на предприятиях.

Всё хорошо, что хорошо кончается

Самым красивым парнем в универе был я. А самой красивой девушкой – студентка юридического факультета, имя которой я упоминать не буду. Однажды она предложила мне "как бы встречаться". То есть, создать у окружающих впечатление, что мы пара. Дескать, ей надоели воздыхатели, да и меня наверняка осаждают поклонницы.

Мы на самом деле несколько раз вышли из университета после занятий вместе и иногда ждали друг друга с лекций. Она демонстративно поправляла мне шарф или шапку на виду у всех. Как-то мы даже сходили в кино. Помню, как однажды она сказала, что ей надоело быть примерной девочкой и хочется сделать что-то плохое или вредное. После чего съела сначала жуткий пирожок с неизвестной начинкой с уличного лотка, а потом – мороженое, хотя на улице стоял средней силы мороз.

Однажды, под самый Новый год, я, как обычно, пошёл после занятий к остановке. Но не успел я пройти и пятидесяти метров, как меня остановила группа угрожающего вида парней. Один из них, самый угрожающий, с угрожающе сломанным носом, сказал, что та девушка с юрфака – его подруга, и что так как я не внял ни одному предупреждению, в том числе и самому последнему, мне крышка.

Здесь Паша Эмилевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. (И.Ильф, Е.Петров – «Двенадцать стульев»)

Но враньё о неких мифических, якобы вынесенных мне предупреждениях возмутило меня настолько, что я вдруг перестал бояться. А как только я перестал бояться, сам по себе нашёлся и выход.

Я сказал, что крайне удивлён неосведомлённостью Перебитого носа, потому что мы с той девушкой уже месяц как расписались и теперь муж и жена. Тот аж язык проглотил, а когда выглотил его обратно, пообещал урыть меня в землю, если я вздумаю его обманывать. Я заверил его, что это никакой не обман, что проверить это очень легко и что я всё равно никуда от него не денусь, так как хожу тут минимум два раза в день.

Перебитый нос отправился к девушке выяснять отношения, а я — к ближайшему телефону-автомату, чтобы ей позвонить. По счастью, она была дома.

— Ты куда меня втянула? — начал я разговор.

Она стала уверять, что не думала, что так всё выйдет, что предупреждения Перебитый нос на самом деле передавал через неё, а она ничего мне не сказала, что она давно хотела от него избавиться, но не знала как, и решила воспользоваться моей помощью и моей смекалкой, только не успела всё рассказать и предупредить меня, так всё быстро произошло. Она трещала ещё что-то, но я перебил её:

— Он сейчас идёт к тебе, так что разбирайся с ним сама.

— А если он потребует свидетельство о браке?

— Скажи, что оно в моём домоуправлении на прописке вместе с твоим паспортом, что ты у меня жить будешь. Ну, не тебе ж объяснять, на самом-то деле.

Потом мы согласовали дату нашего "брака", чтобы не расходиться в показаниях, на чём разговор и закончился.

После Нового года началась сессия, мы больше не встречались, ни "как бы", ни по-настоящему. Лишь через какое-то время случайно столкнулись в вестибюле, поздоровались и пошли каждый своей дорогой. Время для объяснений давно прошло, история «перегорела». Да и Перебитого носа я больше ни разу не видел.

Хождения в народ

Вопреки известной пословице, позднесоветская молодёжь по одежке и встречала, и провожала. А с начала восьмидесятых в стране воцарился настоящий культ шмоток. Пресса ещё пыталась обличать «вещизм», но комитеты комсомола сами потихоньку превращались в пункты торговли «фарцтоваром», за которым гонялась вся страна. У меня было несколько совершенно потрясных вещей, которые я носил в универе. Меня подозревали в фарцовке и даже подослали ко мне комсомольских шпионов под видом интересующихся покупателей. Но я ничего никогда не продавал, мне просто очень нравились эти вещи. Так вот, эти шпионы тоже были самыми обычными молодыми людьми, которые тоже хотели красиво одеваться. И они на самом деле интересовались, где я достал всё это. Не для того, чтобы разоблачить и обличить, а для того, чтобы прибахлиться самим.

Мой брат познакомился с будущей женой вот как. Она всегда хотела себе парня в кофте «с огурцами» (это такой тип рисунка) и обратила внимание на брата, который именно в такой кофте и ходил. С другой стороны, первым делом при знакомстве брат спросил её, в чём она ходит зимой. С летним «прикидом» у неё было всё в порядке.

Да, тогдашняя провинциальная мода славилась своими извращениями. У нас была модной зимняя одежда, в которой молодёжь парилась с октября и чуть ли не до мая. Даже в фотоателье на портреты фотографировались во всём зимнем. Девушки от 16 и старше ходили в униформе: рыжая лисья шапка, чёрная или коричневая цигейковая шуба, белый «исландский» шарф в полоску, белые или красные «португальские» сапоги. Униформа для парней состояла из бобровой шапки, овчинного тулупа, страшного

дефицита по тем временам, и джинсов, заправленных в меховые сапоги. Я и сам так одевался, что уж там. Уже потом появились «дутые куртки», которые можно было носить весной вместо шуб и тулупов.

Школота щеголяла в «дутых сапогах», которые ещё называли «луноходами». Хотя я тогда и вышел из школьного возраста, на самом излёте моды такие луноходы были и у меня, причём в самом навороченном варианте, напоминавшем тракторные шины. Носить их я начал ещё в сентябре. Зимой, во время самых трескучих морозов, пластмассово-резиново-поролоновые сапоги потрескались и полопались в разных местах. Я склеивал, зашивал и заклёпывал трещины, но они тут же появлялись снова. К маю состояние сапог стало настолько безнадёжным, что их пришлось выбросить. Новые луноходы я покупать не стал, потому что к осени они окончательно вышли из моды и больше почти не продавались.

Но самым главным извращением провинциальных подростков 1980х был, конечно же, «адидасовский костюм», представлявший собой самые обычные тренировочные штаны с тренировочной же «олимпийкой». Это был не просто писк моды, это была сама мода как таковая. Стоила пара от 400 до 500 рублей при средней зарплате специалиста в 160 рублей на руки. Естественно, ни на какие тренировки в этой одежде не ходили. Это был самый настоящий выходной костюм для свиданий, дискотек и концертов. Да, прямо на концерты в спорткомплексы в тренировочных костюмах и шли. Иногда два человека покупали их вскладчину и носили попеременно штаны и «олимпийку».

Девушки, которые не подходили под описание «цигейковая шуба, из которой адидасовские штаны торчат», имели у парней значительно меньше шансов. Без «Адидаса» ты был никто. Родители из кожи вон лезли, в долги залезали, лишь бы только доченька не оказалась представительницей «царства мохеровых шарфов,

искусственных шуб и вязаных шапочек», как презрительно называлась бедная молодёжь с рабочих окраин.

Жутко и жестоко, не буду спорить.

В те годы произошёл случай, описанный в молодёжной газете. Председатель одного облисполкома выделил своей то ли уборщице, то ли машинистке (была тогда такая профессия - на пишущей машинке тексты набирать) квартиру из председательского фонда в крутом доме для начальства. Женщина в одиночку поднимала дочь-подростка и считала каждую копейку. Пока они жили в рабочем пригороде, бедность не так ощущалась. А вот в центре города всё вылезло наружу. У девчонки не было необходимого модного набора, она понимала, что его и не будет, что трясти мать смысла не было, как и жизни без модного набора. Девочка наглоталась таблеток и умерла.

То была присказка, а вот сама сказка.

Началось всё с того, что у меня зазвонил телефон. Говорил со мной, однако, вовсе не слон, а какая-то девушка. Мы познакомились, поболтали совсем немного, буквально пару минут, потом она попросила разрешения позвонить ещё. Ну, почему бы и нет.

В следующий раз мы договорились встретиться. Меня ожидало жестокое разочарование в виде самой типичной представительницей того самого "царства мохеровых шарфов". Ни адидасовского костюма, ни цигейковой шубы, ни даже дутых сапог на ней не было. Искусственная шапка, искусственная шуба, лыжные штаны и – о, ужас, валенки, которые тогда давно уже никто не носил – каждый элемент сам по себе был по го. Я вздохнул и решил, что никому про неё не расскажу, даже брату – боялся насмешек.

Но главная неприятность состояла в том, что Лариса оказалась невероятно заторможенной. Нет, она вовсе не была какой-то умственно отсталой или что-то в этом роде. Просто темперамент такой, какой я всегда терпеть не мог. Начинаешь про что-нибудь говорить – она разговор

поддерживает, улыбаётся, смеётся, вставляет иногда словечко-другое. Замолчишь – и она будет молчать. Можно идти по улице хоть полчаса, и всё в полном молчании. То есть, её надо было постоянно развлекать.

Выяснилось, что её дед – инвалид войны, ему протянули по воздуху телефон, что в их пригородной Морозовке было совершеннейшим исключением. Звонить ей было некуда, потому что ни у кого из её знакомых телефона не было. Тогда её подруга предложила звонить наугад. Она мне позвонила, с ней же я и разговаривал. На встречу после долгих споров решили отправить всё же Ларису, так как телефон её, да и подруга представилась этим именем. Вот почему по телефону я общался с нормальной девушкой, а эта была как под наркозом.

К несчастью, Лариса продолжала названивать, и я устал придумывать отговорки, чтобы не тратить на неё время. И вот однажды она решила показать меня своим друзьям. Смотрины состоялись в её родной Морозовке. Там находилось какое-то непонятное строение, то ли клуб, то ли почта, то ли ещё что-то. В огромном вестибюле этого здания гоготала вечерами местная пэтэушно-заводская молодёжь, которой Лариса и собралась меня продемонстрировать. Сказать, что я выглядел там белой вороной или каким-нибудь хомячком с жабрами – это не сказать ничего. Подобную публику элой вроде нас от страха обходили на улице за квартал. Но приняли меня нормально, моё первое в жизни знакомство с пролетариатом обошлось без каких-либо эксцессов. Там и вино разливали, и курили, но меня ни к тому и ни к другому даже не пытались принуждать, что мне очень понравилось.

В общем, друзья Ларисы были хоть и недалёкими, но совершенно адекватными людьми, с которыми, как оказалось, можно было беспроблемно общаться. Тормозом была одна только Лариса. Весь тот вечер я только и делал, что жалел, что подруга Ларисы – вменяемая девчонка, которой

пришло в голову позвонить мне и которая тоже присутствовала в компании – не пришла на то первое свидание сама. Замутить что-то с ней мне мешала порядочность.

Домой я ехал с твёрдой уверенностью послать эту Ларису подальше, даже если у неё такая классная компания. Но мы встретились ещё пару раз. Когда троллейбус подъезжал к остановке, я всматривался в толпу в надежде, что Лариса не придёт. Увы. Девушку в валенках не заметить было нельзя.

Давно наступила весна, дел по учёбе было невпроворот, и времени совсем не оставалось. Неудивительно, что я даже не заметил, что Лариса перестала звонить. И вот, спустя пару месяцев вдруг позвонила... нет, не Лариса, а её мама, которая как-то нашла мой телефон. Она была в жутко подавленном состоянии. Темой расспросов были наши с Ларисой разговоры. Я честно сказал, что никаких разговоров не было, а были одни мои монологи, потому что из неё нельзя было выдавить ни слова. Спросил, в чём дело. Оказалось, что Лариса пропала. Исчезла без следа. В милицию сообщали, объявления и наводку дали, к ясновидающей ходили, всех опросили – ничего. Ушла из дома утром и всё, как в воду канула. Сейчас нашёлся мой телефон, мама и решила позвонить на всякий случай. Я ответил, что если милиция захочет меня допросить, то никаких проблем. Даже адрес свой назвал.

После разговора я с чувством глубокого удовлетворения отметил, что Ларису так и не послал. Хотя бы угрызания совести мучить не будут, и карма не испортится.

Через годы, когда я собирался уезжать, я почему-то вспомнил про этот случай. Хотел позвонить, узнать, как там что, но потом взял и сам поехал в Морозовку. Нет, Лариса так и не нашлась, ни в живом, ни в мёртвом виде. Зацепок никаких. Милиция списала дело в архив.

Вторую попытку хождения в народ я предпринял в то время, когда Владимир Сорокин писал «Тридцатую любовь Марины». Отправился работать на ближайший завод учеником шлифовщика.

На предварительном инструктаже по технике безопасности для новичков я заметил парня, как я тогда отметил, «хрестоматийной русской красоты». Прямо герой былинных сказок. Звали его, как выяснилось, Валерой, он совсем недавно вернулся из армии. Служил в Афганистане. В отличие от путинских ихтамнетов, ему, как он сам сказал, дали статус, приравненный к статусу участника войны. Я был очень рад знакомству с ним. Из памяти ещё не выветрился позитив от первого контакта с пролетариатом, и я надеялся, что Валера познакомит меня со своими друзьями, а там, может, и девушка какая для меня найдётся, не такая заторможенная, как та Лариса.

В первый же рабочий день началась целая цепь плохих новостей и разочарований, которые сопровождали меня всё время работы на предприятии. Началось с того, что станок, на котором мне предстояло учиться, не работал. Как говорилось, «не держал центрА». То есть, делал конусы самых замысловатых размеров, но только не цилиндры. Но начальник участка подбодрил меня: «Ничего, становись за Зубакинский станок, там научишься». «А Зубакин?» - спросил я недоумённо. Начальник посмотрел на меня, как на идиота: «Так Зубакин же в отпуске».

Когда Зубакин вышел из отпуска, меня перевели на станок другого отпускника, а потом - ещё на один и так далее, пока я, блестяще сдав теорию и практику, не получил третий разряд шлифовщика. После чего выяснилось, что свободных станков больше нет, что мой станок как косячил, так и дальше косячит, а самое главное — если бы с ним было всё в порядке, то это мало бы что изменило, так как работы для меня, не было. Зачем меня приняли на завод, я так и не понял. Я слонялся по цеху и читал книжки. Ученический

оклад закончился, делать мне ничего не давали. Денег, соответственно, не было совсем.

По договорённости с начальником участка, которому надоело, как я хожу перед ним живым укором, я перешёл на работу во вторую смену, так как это позволяло мне находиться на заводе всего четыре часа: с четырёх до восьми вечера. В восемь начинался обед, проходная открывалась, я уходил домой и больше не приходил. По согласованию с тем же начальником, я сам себе по вечерам начал учиться работать на стоявшем на участке без дела новеньком и красивом резбошлифовальном станке. Мне снова оформили ученический оклад, и появился хоть какой-то заработок. Четыре часа в день я упражнялся в шлифовке резб и читал очень умную профессиональную литературу. Потом пробил в ОТЗ (Отдел труда и зарплаты, если кто не знает) ещё один экзамен. Сдавал его чуть ли не начальнику ОТЗ лично, представил изготовленные резбы-шедевры и ответил теоретическую часть прям на шесть баллов из пяти. После нескольких недель согласований, мне в порядке особого исключения присвоили четвёртый разряд шлифовщика. Начальник участка лично вручал мне копию приказа под аплодисменты.

К сожалению, после этого ученический оклад сняли, и я вновь остался без заработка. Потому что для резбошлифовального станка работы тоже не было. Ведь не зря же он стоял столько времени без дела.

Не лучше дела обстояли и в вопросах социализации. Хрестоматийный русский красавец Валера хоть и работал на соседнем участке, но друзей у него, как оказалось, не было. Вернее, до армии были, а за время службы все сплыли. Его возвращение шумно отметили, после чего выяснилось, что у каждого своя жизнь, кто-то женился, у кого-то другая компания, короче, остался Валера один. Но он нашёл новых друзей – в цехе. Этих друзей я очень хорошо знал. Каждое утро они собирались и обменивались

впечатлениями: где они вчера пили, с кем они вчера пили, что они вчера пили, сколько они вчера выпили и так далее. В обед начиналась новая тема: где они сегодня будут пить, с кем они сегодня будут пить, что они сегодня будут пить, сколько они сегодня выпьют и так далее. Ну, а на следующее утро всё повторялось. Так что к Валере я потерял всякий интерес.

Я решил уволиться. После непродолжительных пререканий и угроз пожаловаться в газету «Труд», начальник цеха подписал моё заявление «без отработки», то есть, я мог идти хоть сейчас. За пару часов я оформил «бегунок» со всеми остальными подписями. Так как ничего я не зарабатывал, а накопленные пару дней отпуска только что отгулял, расчёт составлял ноль рублей и ноль копеек. Отдал на проходной пропуск и был таков. К четырём пришёл к окошку отдела кадров за трудовой книжкой.

— А табельная мне сказала, что ты сегодня день не отработал, — сказала мне тётка в окошке.

— И? Мне что теперь, идти дорабатывать? — поинтересовался я.

— Дорабатывать не надо, а вот формулировку мы изменим. На «прогул»! — ответствовала тётка.

— Чего? — удивился я. — Да вы ж мне заработать не давали! Делать нечего было. Я должен был весь день сидеть просто так?

— Порядок есть порядок, — настаивала тётка.

— Ну и ладно, — сказал я. — Пойду в другое место, скажу, что трудовую потерял, мне там новую выпишут. Возьму справку, что работал до университета, мне учёбу в стаж засчитают. Сто лет в обед сдалась мне ваша трудовая.

И направился к выходу.

— Эй, ты! Как тебя там? Да стой ты! — донеслось мне вслед, когда я был уже у дверей. Трудовую книжку мне отдали, на чём моя пролетарская биография и закончилась.

Валеру я видел потом много раз и не переставал удивляться скорости, с которой хрестоматийный русский красавец превращался в обыкновенного серого забулдыгу. Я как-то подумал, что те друзья Ларисы, что произвели на меня столь неизгладимое впечатление, сейчас, скорее всего, выглядят в точности так же и тоже обсуждают, что, с кем, сколько и когда они выпили или ещё выпьют.

Для нынешних подростков старые чёрно-белые фотки с валяющейся у пивных ларьков синюшной пьянью – очертание, враньё и клевета. Для меня же это было реальностью, в самой гуще которой я прожил, как в дурном сне, пока не свалил. Соответственно, не трогают меня и рассказы о великой советской промышленности, когда всё спорилось, работало, дымило, двигалось и производилось. Эта кипучая деятельность была во многом либо имитацией таковой, либо самоцелью. Ну, и народ не пил хотя бы сорок один час в неделю.

Сапоги

Было это в разгар Перестройки, когда я совершил свой поход в пролетарии, в смысле, на завод, о чём рассказывал в предыдущей заметке.

Там я почему-то обратил внимание на одну девушку со стандартным лицом и типичными русскими фамилией и именем, работавшую в ОТК. Если она чем-то и выделялась, то именно своей совершенной непримечательностью. И так получилось, что однажды её занесли на доску почёта комсомольской организации. Я решил не упускать случай, зашёл к ней в аквариум (она сидела в странном таком помещении прямо посреди цеха, причём у помещения все стены были стеклянные) поздравить с таким событием. Слово за слово, и мы договорились встретиться вечером.

Встретились. Она рассказала немного о себе. Родом она была из деревни в области. Они со старшей сестрой рано остались сиротами. Потом сестра вышла замуж, а эта девушка, имя которой было настолько типичным, что я его давно забыл, от неприкаянности поехала после восьмого класса учиться в городское ПТУ, по распределению попала на этот завод и жила в заводском общежитии. Даже судьба у неё была типичной.

В общем и целом, первое свидание состоялось, мы договорились встретиться снова. Пару недель у меня не было времени, а потом мне пришла идея пойти с ней в так называемое безалкогольное кафе-бар, которые во время антиалкогольной кампании открывались по приказу сверху. Рестораны устраивали такие заведения скрипя зубами, делали там самые неудобные часы работы и вообще саботировали приказ как могли. Исключением был самый большой в городе ресторан «Маяк», деливший здание с одноимённой гостинице и речным вокзалом. Там к делу

подошли неформально и организовали безалкогольное кафе, ставшее очень популярным у молодёжи и просуществовавшее до самого конца Перестройки.

Когда я зашёл в ОТК, чтобы пригласить свою новую подругу в кафе при «Маяке», она почему-то вышла со мной из своего аквариума в цех и, стараясь не смотреть в глаза, сказала, что никуда не пойдёт ни сегодня, ни завтра, никогда. На уточняющие вопросы отвечать отказалась.

Странно. Я не лапал её грязными ручищами, не ругался матом, не дышал ей в лицо перегаром и вообще ничего такого не делал. Мне показалось, что мы довольно неплохо провели время и вполне могли встречаться и дальше. Я подумал, что есть всё-таки в женщинах какая-то загадка, и сдал этот проект в своей голове в архив.

Через какое-то время я случайно узнал причину отказа. Пришла весна, весь город, кроме самого центра, утопал в лужах и грязи, а у этой девушки не было подходящей обуви, чтобы выйти на улицу. Были то ли зимние суконные сапоги, то ли валенки, я уж забыл. Из общежития на работу она ходила по специальному внутреннему переходу, хлеб-молоко-чай-сахар-консервы покупала в заводском магазинчике. И ждала, пока на улице подсохнет.

Конечно, можно было что-нибудь придумать, чтобы помочь ей выпутаться из этой ситуации, но я не хотел её унижать, тем более что мы не были так близки, чтобы обсуждать столь интимные вопросы. Уже потом я увидел её у районного универсама и первым делом посмотрел на её обувь. Она была в дутых сапогах, которые к тому времени стали настолько немодными и устаревшими, что их иногда продавали в магазине - всё равно их больше никто без особой на то необходимости не носил.

Обычный человек, честно работавший, живший на зарплату и не рассчитывавший на помощь родителей, не мог купить себе что-то на ноги. В магазине стояли сплошные резиновые сапоги и даже галоши (в 1980х годах!). Ну, и

суконные сапоги с валенками. Плюс туфли-босоножки в четверть зарплаты, разваливающиеся максимум через неделю ежедневной носки. Оклад в ОТК за сидение с микрометром 41 час в неделю был рублей 110. Ну, премия 20%, это да. Минус налог. За общежитие надо было платить чуть ли не столько же, сколько за нормальную квартиру. Минус еда, которую ещё достать надо было. Обеды в заводской столовой - ещё минус 15-20 рублей. Личная гигиена, то да сё. Короче, от зарплаты оставалось рублей 20 в месяц. Цены на женские сапоги на рынке начинались от 300 рублей. А голой в одних сапогах рассекать же не будешь, это проститутки так ходят. Недаром (я про это тоже рассказывал) девушки у нас ходили в зимней одежде чуть ли не до мая, а в сентябре закутывались в неё снова. Потому что тогда не надо голову ломать было, что надеть.

Зато на комсомольской доске почёта отметили. Доски, грамоты, выпелы – это раньше умели. Другого не умели, но это – пожалуйста. Называлось моральное поощрение.

И снова сапоги

Вот что было хорошего в советской жизни, так это то, что мы умели радоваться мелочам.

Дело было в апреле 1987 года. Я тогда встречался с ничем не примечательной девушкой по имени Оксана.

Оксана жила на окраине города, в посёлке железнодорожников под названием Московка, по имени близлежащей одноимённой станции с сортировочной горкой и локомотивным депо.

Семья Оксаны – потомственные железнодорожники. Когда её дедушка выходил на пенсию, железная дорога сделала ему особый подарок – провела в квартиру внутренний железнодорожный телефон с четырёхзначным номером. Вопрос решался аж на уровне управления Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске! По этому телефону через ноль можно было позвонить по нему в город. А с помощью другого трюка можно было позвонить из города Оксане домой. Сама она поступала в институт инженеров железнодорожного транспорта, но не поступила и решила поработать годик в отделе кадров железной дороги. За этот годик поступать ей расхотелось, видимо, такая жизнь её устраивала.

Одевалась Оксана стандартно, как одевались все девушки в Омске, за исключением, разве что, особо бедных: лисья шапка, тяжёлая длиннющая бесформенная цигейковая шуба и сапоги, которые у нас назывались почему-то португальскими, может, они и правда делались в Португалии. Сапоги бывали либо белые, либо красные. Или чёрные, но это была совсем уже экзотика.

Вот с сапогами-то и возникла проблема. То ли с замком там что-то было, то ли они сами развалились, но факт, что носить их было нельзя. Новые на «толкучке» (вещевом

рынке) стоили под четыреста рублей – не та сумма, которую просто достают из кубышки. Пока сумма собиралась, сапоги сдохли окончательно, а другой подходящей обуви не нашлось.

И Оксана стала ходить в самых настоящих валенках. А что было делать-то?

Очень поздней весной сумма, наконец-то, собралась, и можно было ехать на рынок. Мы надеялись, что ещё не совсем поздно и что зимние сапоги ещё продаются. Потому что в начале нового сезона они стоили раза в полтора дороже. Да и вообще – готовы сани летом.

Хотя я жил в трёх остановках от рынка, я счёл за необходимость пилить в воскресенье ни свет ни заря за тридевять земель на Московку, чтобы зайти к Оксане домой и вместе с ней поехать за сапогами. Ну, а потом сразу ко мне домой. Чайку попить. Мы пошли до ближайшей остановки троллейбуса. Снег уже сошёл, было сухо и, как положено в Омске, жутко пыльно и грязно. Пыль аж на зубах скрипела. Деревья стояли ещё голыми. Обычная омская весна.

Мы были почти у цели, когда увидели приближающийся троллейбус. Тот самый, редкий, как лев-альбинос, маршрут, что ехал прямо до «толкучки». Мы ринулись к остановке. Бежать в валенках было жутко неудобно, так что Оксана заметно отставала. Но главное препятствие ждало впереди: внушительных размеров лужа с полуметровой полосой жирной грязи по берегам. Обойти её можно было, лишь потеряв во времени минут пять, наверное, которых у нас, естественно, не было.

В момент созрело решение, которое Оксана поняла меня без слов. На мне были сапоги-унты с кожаным низом. В помещении в них было дико жарко, но в утопающем в грязи Омске они были в самый раз. Я встал в лужу, которая, как я и предполагал, оказалась совсем мелкой, выставил руки, подхватил девушку с разбегу и перенёс на

другую сторону. Последние метры до остановки были делом техники, и на троллейбус мы успели.

В полупустом троллейбусе, который должен был вскоре заполниться до отказа, мы заняли уютное местечко на задней площадке и отдышались. Мы успели. Это был такой кайф, такая непередаваемая радость, что никаких слов не хватит, чтоб передать. Потом Оксана сняла варежку и заправила мне в тулуп шарф, который на бегу совсем вывалился. После чего был длинный-предлинный и страстный поцелуй, ради которого-то мы и не сели на сиденье, а встали в уголке друг напротив друга. Сердце прыгало, а мозг обожрался эндорфинами на месяц вперёд.

Мы не любили друг друга, но в тот момент вместе падали на седьмом небе, в экстазе от счастья.

Купили ли мы в конце концов сапоги, я уже не помню. Не помню, при каких обстоятельствах мы расстались с Оксаной. Но то чувство радости, сравнимое, наверное, лишь радостью первооткрывателя кометы или антибиотика, запечатлелось в памяти на всю жизнь. Как запомнилась и мелочь, ерунда – поездка на обычном, вроде бы, троллейбусе.

Битва за хлеб

В 1990-1991 годах в СССР были серьёзные перебои с хлебом. У магазинов выстраивались гигантские очереди, даже когда никакого хлеба в продаже не было: люди стояли и ждали «подвоза», который мог быть через пять минут, а мог – и через час, и через два. Те, кто были сзади, на что-то надеялись, те, что стояли впереди, просто ждали. Иногда – часами.

В одно прекрасное декабрьское утро 1990 года я вспомнил, что у моей двоюродной сестры сегодня день рождения. Вернее, это я не сам вспомнил, мне напомнили, но это уже лирика. Сестра жила на окраине города, а в её доме был хлебный магазин, в котором, как мне было известно, в продаже постоянно были большие круглые очень дорогие торты. Они на самом деле стоили рублей 10-15, поэтому и лежали на прилавке зачастую в единичном экземпляре для каждого сорта – рисковать магазины не хотели. Именно такой тортик и решил я купить сестре на день рождения.

Я вышел из автобуса и увидел... правильно, гигантскую змею очереди. Была зима, стоял хороший мороз, но в помещении маленького магазинчика вся очередь не помещалась, так что часть страждущих дрожала снаружи. Мне хлеб был не нужен, мне нужен был торт.

- Ты куда? — грозно спросил меня дядька из очереди.
- Мне только посмотреть, — сказал я.
- Ишь, какой умный. Посмотреть ему, ага.
- А потом залезет вне очереди, — поддакнул кто-то.
- Куда я залезу? — удивился я. — Хлеба ведь всё равно нету. Что я могу взять?
- Тем более, нечего тебе там делать.
- Мне торт надо купить.
- Чего?

- Торт.
- Ты нас что, за идиотов считаешь?
- Да я серьёзно.
- И мы серьёзно.

Из глубины магазина послышались крики.

— Не пускайте там никого! Лезут сюда всякие. Пусть в очередь становятся.

— Слышал? — сказал мне тот же мужик. — Вали отсюда, давай, пшёл!

Тут я попытался прорваться внутрь, но в очереди поднялся настоящий вой.

— Шапку с него снимай, шапку! Без неё он никуда не денется, на улице 30 градусов!

- Я тебя, суку, урою щас!
- Не пускайте его! Дверь держите!
- Думаешь, молодой, так всё можно?
- Мы тут уже полдня стоим!

Я оставил попытку хотя бы потому, что понял, что даже если я прорвусь, наружу меня целым не выпустят. Можно будет уходить только через служебный ход. А раз так...

Высвободившись и отойдя в сторону под улюлюкание и проклятия очереди, я обошёл магазин с другой стороны.

- Тебе чего?
- У вас торты есть?
- Есть. А что, нормально зайти не мог?
- Не мог. Очередь не пустила.
- Совсем уже озверели. Какой тебе торт?
- Самый дорогой.
- Он 20 рублей стоит, — цена повергла меня в небольшой шок, но отступать было поздно. Я протянул деньги.

— Иди, забери его, — сказала продавщица, приглашая за собой. Я вошёл и оказался по другую сторону прилавка.

— Вот же, его в дверь, а он в окно! И одет-то прилично, а какой хам! — послышались голоса.

— На, — продавщица протянула мне торт, — держи.

— Здоровый какой! — сказал я.

— Просил же самый дорогой. Донесёшь?

— Да, мне в этот же дом, только в другой подъезд.

Честно говоря, я боялся, что на выходе меня встретят люди из очереди и надают мне в рыло, а главное — расплющат мою покупку. Но ничего не случилось. Я прошёл несколько десятков метров и вошёл в подъезд. Сестре я о приключении рассказывать не стал.

Колбаса

Примерно в то же время я уволился с предприятия, где работал. Через месяц с небольшим мне позвонили и сообщили, что можно прийти и получить премию за прошлый квартал, в котором я ещё трудился. Так я и сделал, а на обратном пути решил зайти в диспетчерскую, поболтать с девчонками о том и о сём.

Дверь диспетчерской оказалась запертой. Такого не было никогда. Я постучал. На стук выглянула сотрудница.

— А, это ты. Заходи. Я сейчас дверь за тобой закрою.

Я вошёл и понял причину, по какой дверь была заперта. В диспетчерской совершалось священнодействие – распределялась КОЛБАСА! Батоны разрезались надвое и взвешивались. Продажа должна была начаться через час, после окончания рабочего дня.

— Тебе колбасы надо? — буднично спросила та, что открывала дверь.

Надо ли мне колбасы? Она ещё спрашивает! А самое главное – со мной были деньги, ведь я только что получил премию. Мне по старой памяти была вручена... нет, не половина, а целый батон колбасы! Я рассчитался и осторожно, как вор, выскользнул за проходную. В радостном порыве я полетел к автобусу и когда очнулся, обнаружил, что пролетел целых две остановки. Прошёл их пешком и не заметил. Тут же подошёл автобус. Я залез в него и думал, как обрадуется мама, когда увидит, с чем я пришёл домой. Пассажиры вокруг меня принюхивались, втягивали вожделенный запах и обсуждали, в каком магазине на пути следования автобуса могли давать колбасу. Внутри я разрывался от счастья и смеха, но внешне сохранял ледяное спокойствие, словно разговоры меня не касались.

Умели мы радоваться мелочам, что ни говори. Умели.

Страна народной демократии

Вспомнились советские выборы. Вернее, не столько выборы, сколько пресловутые буфеты в фойе. Если пойти туда пораньше, можно было застать деликатес – жареную колбасу. Вернее, она только на бумаге числилась жареной. На самом деле это были разрезанные на четыре части колбасные батоны: сначала поперёк, а потом половинки ещё и повдоль. Каждую дольку колбасы для вида клали на несколько секунд на сковородку или что там у них было, чтобы придать видимость жарки и оправдать нехилую буфетную наценку как на изготовленный продукт. Но все прекрасно знали, что никакая эта колбаса не жареная, что её можно использовать для бутербродов или на самом деле нормально пожарить, если хочется.

Основным атрибутом всех этих буфетов была выпечка нескольких сортов и пирожные. Иногда продавали что-то рыбное. И ещё ватрушки с творогом – гадость несусветная.

В нашем универсаме примерно раз в день, часов в пять-шесть, выбрасывали вожделенную колбасу. В советском жаргоне продажа дефицита (а дефицитом было всё) называлась именно «выбрасыванием». Так вот, в нашем универсаме её выбрасывали в прямом смысле слова. В огромном и совершенно пустом торговом зале, где в самом лучшем случае стояли трёхлитровые банки маринованных зелёных помидоров, аджика и салат из морской капусты, а в худшем случае не было вообще ничего, около известного только местным краеведам окошка толпился народ. Можно было толпиться четверть часа, полчаса, час или два – точно никто не знал, но ждать надо было обязательно, потому что само действие занимало буквально пять минут. Окошко внезапно раскрывалось, и оттуда в толпу летели завёрнутые в клочки серой упаковочной бумаги куски

заветной колбасы. На бумаге стояли цифры, означающие стоимость куска. Естественно, никто не проверял, сколько они на самом деле весили и стоили. Ни один кусок до пола не долетал, будучи перехваченным ловкими руками ожидающих. Через пять минут колбаса переставала вылетать, толпа редела и, в конце концов, рассеивалась. Окошко закрывалось, ошастливленные направлялись в кассу, и вот уже универсам снова напоминает артефакт из фотогрупп «Lost Places»: ни людей, ни товаров, ничего. Я сам много раз стоял в этой толпе и ловил треклятую колбасу, испытывая смесь счастья и небывалого унижения.

Помню, как ребёнком ходил в цирк, где в антрактах новогоднего представления по специальным талонам выдавали три мандаринки, соевые конфеты, шоколадный кружочек-«медальку» и окаменелые ириски. На самих представлениях я, естественно, не был, приезжал ровно к антракту, заходил, брал «набор» и ехал домой.

В продуктовом смысле к Новому году начинали готовиться с лета, складывая в укромном месте добытые по случаю или «через буфет» непортящиеся продукты, вроде консервов какой-нибудь сайры. Можно было сидеть на хлебе с «бутербродным» маслом весь год, но новогодний стол должен был быть заполнен всякими яствами, даже если праздник отмечали в кругу семьи без гостей. Когда мне было лет 20, я пытался подъехать к одной девушке, упорно не обращавшей на меня никакого внимания. И я решил поразить её невиданным трюком. Чудом перед самым Новым годом у меня оказалась бутылка «Советского шампанского», причём не простого, а какого-то особенного. Обычное стоило 7 рублей 70 копеек, а это было за восемь с чем-то. В нашей семье пил только отец, а ему было всё равно, что пить. И я отнёс шампанское той самой девушке. Пришёл к ней домой и отдал драгоценную бутылку. Мне вернули восемь с чем-то рублей, ведь счастье заключалось вовсе не в подарке, а в факте наличия шампанского на

столе. А деньги мне нужны были для отчётности, потому что иначе я не смог бы объяснить дома исчезновение такой суммы. С девушкой, кстати, так ничего и не вышло.

Как можно сейчас восхвалять всю эту хрень? Неважно, под каким соусом, будь то «это же наша история», «это было моё детство, ни на какое другое его не поменяю», «а какой пломбир был!», «зато отношения были чище», «была уверенность в завтрашнем дне», «на улицах спокойно было», «продукты натуральные были», «люди всё бесплатно имели», «не дадим поливать грязью наше прошлое» или что там ещё. И уж совершенно непонятны сравнения с сегодняшним временем, вроде «можно подумать, сейчас сыр лучше – пальмовое масло с красителями», «открыл тушёнку – а там волосатая шкура в воде плавает», «люди как звери стали, одна ненависть кругом». Потому что надо не сравнивать, а признать, что раньше было дерьмо и сейчас тоже, только немножко другое. И не будет нужды приукрашивать, забывать и врать.

Ведь не вымерло ещё советское поколение, что ловило в воздухе колбасу в универсамах и стояло часами на морозе в ожидании частника, который привезёт мешок картошки на продажу. Ещё живы те, кто помнит, что в магазине после ремонта было не больше товаров, чем во время ремонта. Например, я помню, как 29, 30 и 31 декабря (3 дня подряд!) безуспешно искал по всему миллионному городу сметану для новогоднего салата.

Первая любовь

Каждому человеку полагается в жизни первая любовь. Будет ли она лишь первой в череде последующих или станет сразу последней – это уж как карта ляжет. Моя любовь была именно такой: первой и последней. Не той, что раз и навсегда, а той, что раз и всё.

Наверное, и не любовь это вовсе была, а подростковая влюблённость, игра эндорфинов. Если страсти где-то и бушевали, то исключительно внутри меня. На события же моя любовь оказалась чрезвычайно бедна.

Её звали Жанна, на год старше меня. Родом она была из Еревана, а в Омское музыкальное училище она поступила, потому что на Ереванское её семье не хватило денег. Почему она поехала именно в Омск, за тридевять земель? Да потому что отец её работал на каком-то заводе, который поставлял и налаживал оборудование на смежном предприятии в Омске. В нашем городе он часто был в командировках, так что с дочерью он виделся постоянно.

Внешне почти ничего не происходило. Мы встречались месяца три, поздней весной 1984 года. Ходили по паркам, сидели в кино, где она проливала слёзы на индийских фильмах. Время буквально летело.

Летние экзамены Жанна не сдала, а с учётом её катастрофической успеваемости (или неуспеваемости), из училища она была отчислена. Но домой она не уехала: ей обещали выдать особую справку, если она найдёт какое-нибудь другое учебное заведение и переведётся туда.

Такое заведение нашлось в виде «кулька». Так называли культурно-просветительские училища и институты. «Учение – свет, а неучение – культпросвет.» Омское культпросветучилище готовило кадры для самостоятельности всех мастей, в том числе (и в первую очередь) на селе. Туда

Жанна и перевелась, тем более что это училище имело собственное общежитие, а до этого ей приходилось задорого снимать комнату.

Когда перевод был оформлен, начались летние каникулы, и Жанна поехала отдыхать домой, в Ереван. И вышло так, что мне в это же время тоже выпала возможность отдохнуть на юге, так что в поезде мы поехали вместе, а в Краснодарском крае пути наши разошлись. Как вскоре выяснилось, навсегда.

Потом она вернулась в Омск, доучилась, получила диплом, вышла замуж и уехала с мужем на Север. Но вскоре развелась, переехала к родственникам в Краснодарский край, где снова вышла замуж и проработала до самой пенсии музыкальным работником в детском саду.

Вот, собственно, и весь сюжет.

За кулисами же творилось чёрт знает что. Я не мог думать ни о ком и ни о чём, кроме Жанны. С мыслями о ней я просыпался и засыпал. День, когда я не видел её, был для меня сущим кошмаром. Мне самому надо было сдавать сессию, но надвинувшиеся чёрной тучей экзамены я лишь принял к сведению. Большого места в моём сознании для них не нашлось.

Когда Жанну отчислили, мир для меня рухнул: ведь она уедет домой, и я никогда больше не увижу её! А без неё и жизнь – «не жизнь, а так...», как спел однажды Юрий Лоза.

Спасение пришло в виде возможности перевода в другое училище. Жанне советовали музыкально-педагогическое училище, но там что-то не складывалось. И тогда моя мама подарила идею с культпросветом, поведав заодно, что директор этого училища – её бывший однокурсник.

Сколько раз я бегал и ездил по этим двум заведениям, ходил к директорам обоих училищ, выяснял, собирал справки, выписки, характеристики и отметки о сдаче книг и нот в библиотеку. Потом помогал с переездом со съёмной квартиры в общагу. Так как старый ученический билет

был ей больше не нужен, я выпросил фотографию из него, ту самую, что три на четыре. Дома вырезал из картона что-то типа малюсенькой обложки, приклеил внутрь фотографию, а снаружи тончайшим художественным пёрышком надписал строки из Николая Рубцова.

Наконец-то, формальности были улажены, обходные листы заполнены, документы оформлены, печати поставлены, вещи перевезены. И в этот же вечер отходил наш поезд «Новосибирск – Адлер». В пути я ночью толком не мог уснуть, потому что не мог наглядеться, напиться и надыхаться своей любовью. Смотрел на неё спящую, а кровь буквально горела пожаром любовного сепсиса.

В пункте назначения, перед тем как расстаться, Жанна написала что-то в моей записной книжке и взяла обещание прочитать это только когда мой автобус в Краснодар будет в пути. Как только автобус покинул станцию, я открыл блокнот и прочитал: «Я не могу без тебя. Я люблю тебя.»

Каникулы пролетели, как в наркотическом тумане. Понятное дело, ведь эндорфины – своего рода наркотик. Лето заканчивалось, вот-вот надо было приступать к занятиям, а Жанна всё не объявлялась. Я не находил себе места, а чуть ли не первого сентября поехал в культпросветучилище, располагавшееся на северном краю города, примерно час езды на городском автобусе.

Там оказалось, что Жанна жива-здоровая, что она прекрасно отдохнула и посвежела. А то, что она мне даже не позвонила – ну, и не позвонила. Написала она мне что-то в блокнотик? Ну, написала, было дело. Короче, её девочки в общежитии ждут. Если у меня всё, то я могу идти. Чао!

Кошмар, в который я погрузился в тот день, длился примерно год. Меня наизусть выучили все вахтёрши собственноручно «кулька» и его общежития, так как я регулярно пасся там в надежде хоть глазком увидеть Жанну. Проход в общежитие посторонним был строго воспрещён, но меня уже не считали посторонним. Жанна была здесь, в общежитии,

но в комнате не сидела, а бегала туда-сюда по друзьям и подругам, так что застать её на месте было невозможно.

Вскоре её отправили на уборочную. «На картошку», как это тогда называлось. Я выяснил, куда конкретно отправили её курс вообще и её группу в частности, и совершенно не соображая, что делаю, поехал туда на пригородном рейсовом автобусе.

Высадили меня в чистом поле, где-то вдали работали мобилизованные на помощь селу. Мне понадобилось около получаса, чтобы добраться до них по вязкому полю и узнать, что к «кульку» они не имеют никакого отношения, что они, правда, из училища, но совсем другого. Расстояния между полями и группами работающих были гигантские, без машины там делать было нечего. Где находится автобусная остановка, никто, понятное дело, не знал.

Я пошёл на шоссе и стал ждать, что меня кто-нибудь да подберёт. Надо было торопиться, пока родители меня не хватились. О моём путешествии они не знали.

К счастью, вскоре появился плетущийся еле-еле сломанный автобус. Водитель сам предложил подбросить меня до города. Домой я успел засветло, никто ни о чём не догадался, а я и не рассказывал.

Общагу «кулька» я продолжал навещать два раза в неделю, но встретить Жанну удалось лишь к весне. Она сидела одна в комнате, пытаясь оживить перегоревший электрочайник. Помочь ей я не мог, потому что спираль на самом деле сдохла, о чём я ей честно и сказал.

Слово, другое, туда, сюда. Разговор не клеился. Слишком много всего успело произойти. Я изменился. Она — чёрт её знает, она всё время была одинаковой. Флегматик чистой воды. Хотя прямо мне она так не сказала, но суть её немногословия заключалась в следующем: если я хочу на ней жениться, то должен сделать это прямо сейчас. Пока что у неё никого нет, но если появится, то она выйдет за него. Ей было всё равно. Впрочем, как всегда и везде.

К этому я тогда не был готов. Ну, какой из меня муж? Лет мало, профессий и денег ещё меньше, жить негде. Просто расписаться и сидеть дальше по своим углам?

Больше мы не виделись. Не было смысла. Со временем чувства поостыли, и я возблагодарил Небеса за то, что та встреча была последней. То, что из этого всё равно бы ничего не вышло, стало совершенно очевидно.

Карина

Карина училась в том же музыкальном училище, что и Жанна. Собственно, так мы и познакомились. Встречаться мы начали, потому что мне надо было как-то отвлечься от наваждения первой влюблённости, а Карине просто нечем было заняться. Ну, не музыкой же, в конце-то концов.

Она была полной противоположностью Жанне. Очень высокая, стройная, с иссиня-чёрными волосами до пояса. Хрестоматийный сангвиник, а заодно – инвалид с детства второй группы. У Карины был врождённый неоперабельный порок сердца. Вернее, неоперабельным он стал примерно в семимесячном возрасте. Когда она была младенцем, врачи отказывались не то, что давать какую-либо гарантию выздоровления, но и не обещали, что девочка вообще перенесёт операцию. Ко времени нашего знакомства это была бледная, как бумага, и, тем не менее, очень красивая девушка. Она терпеть не могла красить губы, но ей приходилось это делать, так как при нагрузке, а особенно, при ходьбе, они заметно синели.

Мать Карины преподавала математику в каком-то техникуме, а отец был водителем грузовика

Были у неё старшие брат с сестрой, но они давно жили отдельно то ли в Тбилиси, то ли в Гагре, то ли там и там.

Как они оказались в Омске, я до конца так и не понял. Была там, вроде как, какая-то криминальная предыстория. А в квартире, куда они должны были переехать, перед самым их приездом случилось что-то очень нехорошее, и им пришлось въезжать в совершенно другой дом, в пригородном посёлке железнодорожников. Отец устроился водителем в местный совхоз, а мама ездила на работу в Омск на электричке – двадцать минут до главного вокзала, а там ещё пару остановок на любом автобусе.

Как и Жанна, училась Карина очень плохо, да ещё и у самой плохой в училище преподавательницы. Эту даму однажды даже уволили за профнепригодность, но сделали это юридически неграмотно, так что суд восстановил её на работе. В отличие от Жанны, Карину не отчисляли, потому что никто не хотел «брать на себя грех, ведь больной же человек». Кое-как добралась она до диплома, где комиссия, заткнув уши, с печальным вздохом поставила ей тройку. А в училище она попала по очень простой родительской логике: семь лет занятий в музыкальной школе, плюс подготовительный класс. Зря что ли такие деньги платили? И пианино купили, куда его теперь?

Но встречался я всё-таки с Кариной-девушкой, а не с Кариной-музыкантом. Ничего похожего на любовь у нас не было, нас связывала исключительно чистая дружба. Да, дружба между парнем и девушкой, о которой веками делятся споры и которой до сих пор отказывают в праве на существование. Мы об этих спорах не знали, а просто встречались и всё. Мой братик её одобрил: зимой она носила шапку из чернобурки, белый исландский шарф, импортную кофту из ангоры, джинсы самого модного лейбла, чёрную цигейковую шубу и красные португальские сапоги. Короче, была упакована по полной программе.

Дома у неё я был множество раз. Квартира у неё была почти как у нас, только в две комнаты вместо трёх. Брежневский стандарт: маленькая прихожая, сразу налево – отдельные ванная и туалет, дальше – крошечная кухня. Если же идти вперёд, то по левую сторону будет сначала одна комната – Карины, а потом – другая, с балконом, где жили её родители. У нас от второй комнаты направо отпочковывалась «трамвайчиком» третья комната, которая у них, как я уже сказал, отсутствовала. В её комнате помещалось не только пианино, которое она сроду не открывала, но и письменный стол, кровать и небольшой кожаный диванчик с журнальным столиком. В углу стоял ещё один столик,

совсем крохотный. На нём располагался самый лучший и самый дорогой в СССР проигрыватель виниловых пластинок «Корвет», а под ним стоял УКВ тюнер-усилитель той же марки. Проигрыватель был коллегой пианино по собиранию пыли, потому что пластинок в доме не водилось. А вот тюнер работал почти всегда, когда Карина была дома. Висевшие в противоположных углах колонки бархатным звуком тихо и неумолимо воспроизводили в шикарном стереозвучании радиостанцию «Маяк».

В родительскую комнату я не заглядывал. Примечательно, что телевизора в доме не было. Это сейчас такое сплошь и рядом, а раньше подобное было совершенно невообразимо. Телевизор в СССР был у всех, даже в последних деревенских развалюхах. Но тут место телевизора занимал радиоприёмник незнакомой марки. Как я понял потом, чтобы слушать «голоса».

В ванной у них стояли разные импортные шампуни и прочие жидкости и гели неизвестного мне тогда предназначения. Там я первый раз увидел немецкие шампуни и дезодоранты Fa. Только теперь я понимаю, почему Карина всегда ходила с распущенными волосами, а они у неё были шикарные. У неё были средства (в буквальном смысле) ухода за ними. В основном же девушки в Омске стриглись коротко: воздух там на треть состоял из пыли с дорог и на треть – из прочих взвесей и субстанций.

В остальном же семья жила просто, как все. Помнится, как зимой 1984/1985 года отправились мы к Карине домой. По пути я увидел нездоровое скопление людей в обычно пустом и стерильно чистом магазине под названием "Мясо". И на самом деле, там продавались соевые пельмени по 70 копеек за пачку. Я был очень хозяйственным и ответственным юношей и встал в очередь. Очередь двигалась быстро, и вскоре в моих руках были две пачки пельменей, купленных для дома. То-то мама обрадуется!

У Карины мы через некоторое время проголодались. В холодильнике не было ничего интересного, а то, что было, нужно было долго и изобретательно готовить.

И я решил пожертвовать пачкой пельменей. Проблема была в том, что я не мог есть их просто так. Хотелось бы со сметаной или с маслом. Но в холодильнике не было ни того, ни другого. Я сказал, что схожу в гастроном напротив. Карина засмеялась: еда в их посёлке, да ещё после обеда даже за шутку бы не сошла. Но я настоял на своём, взял стеклянную банку (тогда сметану продавали только на развес) и спустился вниз.

И кто бы мог подумать: в гастрономе я обнаружил в молочном отделе средней длины очередь. Значит, что-то давали. И этим «что-то» была сметана! Подошла моя очередь. Продавщица стала наливать (именно наливать, как кефир!) сметану, а я посмотрел на прилавок и увидел там называемое «бутербродное» масло, которое, вопреки названию, совершенно не намазывалось на бутерброды и скатывалось от гигантского количества мутной эмульсии, заключённой в этой бледно-жёлтой субстанции. Так что я купил не только сметаны кефирной консистенции, но и некоторое количество вещества, называемого маслом.

Карина не ожидала увидеть меня с покупками и была, естественно, жутко рада. Мы сварили пельмени, я налил себе сметаны, стараясь не разбрызгать её, а она бросила в свою тарелку кусочек "масла". Вскоре пришли её родители, и мы сварили им вторую пачку пельменей. Тот день мне запомнился особым ощущением непередаваемой радости и гордости за то, что я смог быть так полезен.

А чтобы я не расстраивался, в последующие дни пельмени в городе стали продаваться совершенно свободно. Потом, правда, они снова исчезли, но свои две пачки я домой всё же принёс. Или даже больше.

В то время среди водителей грузовиков и автобусов было модно ставить в нижний правый угол лобового

стекла портрет Сталина. Мой отец, железобетонный сталинист, был страшно рад. Дескать, вот, помнит народ-то Сталина, понимает, что он сделал для страны и что вытащил её из деревенской нищеты в мировые лидеры. История всё расставит по своим местам, вспомнят ещё Йосифа. Неудивительно, что тема репрессий у нас дома не просто была запретной – она не затрагивалась вообще, словно ничего и не было никогда.

А отец Карины ставил за лобовое стекло портрет действующего в то время генсека. Делал это осознанно, как протест против ползучей реабилитации Сталина, приобретшей при Черненко особенный размах. Родом он был из Тбилиси. Его семью если и не выкосили под корень, то потрепали знатно.

Мама Карины была родом из Западной Грузии, наполовину мингрелка, наполовину абхазка. Сталинские репрессии коснулись её как в виде абхазского дела, так и в виде мингрельского дела, в результате чего она осталась сиротой. Приютила её дальняя пожилая родственница, жившая в Гагре. Там она закончила школу, затем училась в Сухумском пединституте, а после окончания одного стала преподавать математику в техникуме. Как и в Омске.

До этого я краем уха слышал об «ошибках», допущенных кое-где в результате «головокружения от успехов». Отец признавал, что Сталин действовал жёстко, но тут же пояснял, что «время было такое, иначе было нельзя». Ну, и конечно, Вождя народов обманывали, пользовались его доверчивостью для подковёрных аппаратных игр. Но если кого-то и садили, то за дело – слишком уж много было тогда вредителей и просто врагов. «Ошибка» Сталина, объяснял мне мой отец, заключалась в неправильно сделанном выводе об усилении классовой борьбы в городе по мере укрепления Советской власти. Отсюда и имевшие место отдельные перегибы на местах. При этом он не мог ответить на два простых вопроса, которые появлялись сами

собой. Первый вопрос: какая нафиг классовая борьба через 20-30 лет после революции, когда все некошерные классы были давно либо уничтожены физически, либо изгнаны за границу? Второй вопрос: если даже классовая борьба в городе обострилась, деревня-то тут причём? Ведь там тоже садили, да ещё как.

Но о настоящих масштабах людоедства я узнал лишь от родителей Карины за несколько лет до Перестройки. Узнал и о том, как расстреляли ответственных за перепись населения, показавшую невиданную механическую убыль. Узнал и о Гулаге, и о десяти годах без права переписки, и о том, что означает «ЗК».

С самой Кариной о политике мы не говорили. Нам было интересно друг с другом и без неё. Пока советский балет покорял мир, а страна укрепляла обороноспособность, мы сбегали кто с уроков, а кто с лекций, ходили в кино, в ресторан «Маяк» на набережной, что в устье рек Оми и Иртыша, гуляли по скверам, сидели на лавочках, ели мороженое, платонически целовались, смеялись и неизменно находили кучу тем для разговоров.

Никакого сексуального подтекста в наших отношениях не было, поэтому отношения эти мы ни разу не выясняли и вообще ни разу не поссорились. Но как уверен я был тогда, так уверен и сейчас, через много-много лет – зайдя речь о совместной жизни, я согласился бы не задумываясь.

Кстати, её родители прожили всю жизнь без штампа в паспорте. Их квартира была оформлена как коммуналка. «Подселение», как говорили у нас в городе.

Так получилось, что со временем мы стали встречаться всё реже и реже. Я переехал на другой конец города, телефона у меня не было. Карина закончила училище. Здоровье становилось хуже день ото дня, ей дали первую группу инвалидности. То, что она в принципе не могла дожить до

тридцати, знали все, в том числе и она сама. Примечательно, что в младенческом возрасте, когда корректировочная операция была абсолютно показана, врачи не могли обещать родителям, что их дочь перенесёт эту операцию. В то же самое время, на загнивающем и раздавленном системным кризисом Западе, операции по корректировке подобных врождённых дефектов уже были рутинной. В 1986 году, когда Карина медленно умирала, в США родился Шон Уайт. Родился ровно с таким же фатальным диагнозом, что не помешало ему впоследствии стать олимпийским чемпионом по сноубордингу.

В 1988 году она уехала обратно в Гагру. Весной 1989 года я собирался съездить навестить её, но проблемы с военкоматом задержали меня до лета. А потом оказалось, что 9 апреля 1989 года, как раз в ночь тбилисской трагедии, она умерла во сне. Родители не смогли меня известить, потому что не могли разыскать мой адрес. А телефона у меня, как я уже сказал, не было.

Сейчас я понимаю, что случайностей в мире не бывает. Мы словно играем роль в фильме Дэвида Линча «Внутренняя империя», сценарий которого режиссёр держал в тайне даже от актёров. Листки со своими репликами те получали лишь придя на съёмочную площадку.

Карина не вписывалась в этот мир. Хотя и была она, большей частью, позитивно настроена, хоть и не видел я её плачущей или унывающей, нельзя было не заметить, как тягостно было ей тут находиться. За пределами училища она ни с кем не общалась, кроме меня. Она напоминала подростков из советского фильма «Курьер» 1986 года. Те тоже слонялись по жизни туда-сюда, толком не врубаясь, что они тут забыли и что им теперь делать.

Поэтому я считаю, что умерла она от совка. В прямом и переносном смысле. В прямом – потому что ей не сделали давно практикуемую в мире операцию. А в переносном –

она родилась, огляделась, грустно-иронически усмехнулась и ушла обратно.

В раннем детстве человек учится не только ходить. Он учится жить в чисто физиологическом смысле этого слова. Он ползает, ходит, бегает, рассматривает, трогает, пробует на вкус и запах, что-то постоянно берёт, бросает и передвигает. Человек познаёт мир, и прежде всего – его физические свойства. Но вот мир более-менее изучен, последствия прямого взаимодействия с горячей водой, иголкой свежевыкрашенной стеной запомнились, и человек становится достаточно зрелым и опытным, чтобы изучать мир снова. Но не только и столько материальный мир, как мир людей, его разнообразие и свойства. Мир человеческих взаимоотношений, условностей, законов, индивидуальностей, характеров, способов общения. Этот период жизни – возраст 18-20 лет, плюс минус – мы называем взрослением, когда ссылки на молодость и неопытность постепенно перестают работать.

Так получилось, что знакомство с Кариной в аккурат совпало с моим взрослением. Я думаю, что это главная причина, почему она мне так запомнилась. В моём личном музее это самый дорогой мне экспонат.

Карина Георгиевна Каландадзе

31.12.1964 (Гагра, Абхазская АССР, ГССР) –

09.04.1989 (там же).

Национальные вопросы

История произошла в 1987 году. Или в 1988. Тогда всё так быстро менялось, что один год был за целое десятилетие. Я встречался с казашкой по имени Айгуль. Может, и существовали где-то казашки с другими именами, но мне они не попадались. Мы виделись пару раз в неделю от не-фиг делать, ходили в кино и в кафе, гуляли по набережной, сидели на скамейках в парке и всё такое. Решили, что пока у Айгуль не появится жених из своих, какой смысл сидеть дома в четырёх стенах в его ожидании.

Тут надо сделать небольшое пояснение. Омск – приграничный город, Казахстан был совсем рядом, так что казахов было очень много. А ещё в Омскую область сослали во время войны кучу немцев с Поволжья. Ну, и татары тоже были в большом количестве, как же без них. Плюс русское большинство, естественно. Отношения между национальными группами были очень добрососедскими. Никакой дискриминации и никакого национализма в общественной и производственной жизни не было и в помине. Не взять на работу или не принять в институт человека, потому что он казах, татарин или грузин – такое и в голову никому бы не пришло, это был бы совершеннейший нонсенс. То же самое касалось и продвижения по службе, профессионального сотрудничества, бытового соседства и всего такого прочего. В повседневной жизни национальность не означала ровным счётом ничего. Ну, друг про друга рассказывали, конечно, анекдоты, но это было абсолютно не со зла, поэтому никто и не думал обижаться.

Исключением были браки и всякая любовь-морковь. И если славяне ещё смешивались вовсю, остальные национальные группы общались, любили и женились только в своём кругу, что, кстати, возмущало меня до крайности.

Русско-казахские семьи можно было пересчитать по пальцам, я знал только одну такую, да и то потому, что казах был военным (в то время – уже в отставке) и женился на русской во время своих скитаний по стране. Чтобы казашка встречалась не с казахом – мы с Айгуль были, наверное, единственным исключением, но у нас были чисто приятельские, платонические отношения. Хотя пару раз и целовались, это да, что, опять же, ничего не означало и никаких последствий не имело. Я провожал её потом до автобуса номер 36, который шёл в Самарку – район компактного проживания казахов в городе.

Да, было ещё одно исключение из всех правил – это евреи. Их могли не взять на работу или на учёбу по той причине, что они евреи, это считалось совершенно нормальным и не подвергалось сомнению. С другой стороны, они вступали в браки со славянами и это тоже считалось совершенно нормальным.

И вот в одну прекрасную пятницу у нас на работе распространились слухи, что в понедельник казахи будут бить русских. Да, они в меньшинстве, но будут затаскивать русских в тёмные углы и там над ними расправляться. Типа, будут мстить за Алма-Ату 1986 года и вообще.

Межнациональный конфликт у нас в Омске казался совершенно непредставимым и невозможным. Но слухам поверили. Другое дело, что за субботу и воскресенье они претерпели значительную содержательную трансформацию. Оказывается, не казахи будут бить русских, а ровно наоборот – русские казахов. Эта версия выглядела куда более правдоподобно, хотя оставалось непонятным, за что нужно бить казахов и что мы с ними не поделили. К воскресному вечеру все ходили и многозначительно молчали. Было очень неприятно и неудобно, словно сгустился какой-то жуткий предпогромный туман.

И тогда я вспомнил про Айгуль. Телефона у неё не было (у меня, кстати, тоже). Что делать? И вот поехал я на ночь

глядя на другой конец города, в Самарку. Когда я появился у них дома, они только и смогли вымолвить: «Ты что, совсем с ума сошёл? Тебя же тут прибьют!» Оказалось, что в Самарке среди казахов повсюду бушевал тот же слух, только в его оригинальном варианте – казахи будут завтра мочить русских по подворотням. Айгуль подумала, что прямо с утра ничего не успеет случиться, а потом она позвонит со своей работы мне на работу (она работала секретаршей в водоканале, насколько я помню) и предупредит, чтобы я после работы сразу ехал домой.

Назавтра мы с утра созвонились, убедились, что всё нормально. На работе только и говорили, что про погромы. Про мою казахскую подругу никто не знал, иначе замутили бы расспросами. Потом я позвонил Айгуль и сказал, чтобы не думала после работы ехать домой без моего сопровождения. Вечером зашёл за ней. Мы осторожно вышли на улицу – ничего не происходило. Одета она была в стандартную зимнюю форму омских девушек – огромная лисья шапка, широкий и длиннющий белый шарф, чёрная полированная цигейковая шуба и красные зимние сапоги. Так одевались почти все. Мы решили, что если шапку надвинуть на глаза, не будет видно, узкие они или нет. Стараясь не привлекать внимание, пошли на остановку 36-го автобуса. Автобуса долго не было, мы замёрзли – это днём была весна, а вечером становилось холодно, даже лужи застывали – и решили укрыться в блинной прямо на остановке. Пока ели – подошёл 36 автобус, мы сказали, что и чёрт с ним. Дождались следующего. Айгуль убедила меня, что провожать её до дома не надо, потому что в автобусе «они не посмеют», а в Самарке ей ничего не грозит, там всё равно одни казахи живут.

Кто и зачем распространял такие слухи? Кому это надо было? И так отовсюду приходили то сообщения, то снова слухи о межнациональных волнениях и погромах. Частично они имели место на самом деле, частично были

враньём. Но зачем было людей стравливать? Обстановка и настроения тогда уже были не очень, а тут ещё слухи эти дурацкие. Хотя потом оказалось, что это было только начало Большого Конца. Да, и никаких межнациональных трений в Омске так и не случилось, даже когда они потом случались чуть ли не повсеместно. Хорошо, что люди хотя бы тут остались людьми и оказались выше всего этого, так что оно прошло мимо нас.

Вторая история – лето 1988 года. Мы с девушкой по имени Люда решили съездить на две недели в Адлер. Хотя бы на время поменять обстановку.

Поезд «Новосибирск-Адлер», который станет печально известным через год из-за многочисленных жертв при взрыве газопровода около Уфы, тихо подползал к конечной станции, проводница давно уже собрала бельё, а я строил планы насчёт поиска жилья. Тут в вагоне появилось «лицо грузинской национальности» лет тридцати, заросшее, как ему и полагалось, недельной щетиной. Товарищ, видимо, решил перехватить клиентов до того, как они придут в Адлер, во всяком случае, на весь вагон зазвучала реклама довольно дешёвой комнаты в Леселидзе. Я откликнулся, но поставил условие, что мы сможем тут же принять душ: трое суток в жарком поезде с окнами, откуда летит всякая грязь – это вам не хухры-мухры. Тот согласился. На вокзале нас уже ждала машина с грузинским номером, а ещё через некоторое время мы уже выгрузили свои чемоданы и плескались под душем.

— Никогда больше так не делай, — сказала Люда, как только мы остались в комнате одни.

— Как «так»?

— Ты меня спросил, прежде чем сунуться сюда?

— А что тут особенного? Все частники одинаковые. И это ещё далеко не худший вариант. Соседей немного,

отдельный вход с улицы, плита, тишина вокруг, дача шахматиста Карпова рядом – чего тебе ещё надо?

— А обо мне ты подумал?

— Да что я должен о тебе думать?

— А то, что мне страшно!

— Чего?

— Да, страшно. Тут сплошные грузины. Вон, этот – жуть, какой чёрный.

— А меня не боишься? Я ведь тоже жуть, какой чёрный.

— Так у тебя хотя бы кожа белая.

— Потому что я в Сибири живу. Если я проведу здесь годик, она у меня и не такая чёрная будет.

— Ты прекрасно понимаешь, о чём я.

— Нет.

— Я о том, что меня они изнасилуют, а тебя – убьют.

— Чего?!

— Да-да.

— Ты это что, серьёзно?

— А ты это серьёзно, когда делаешь вид, что ничего не понимаешь?

- Но я на самом деле ничего не понимаю. Я знаю эти места между Адлером и Гагрой как свои пять пальцев, был тут много раз, каждый год езжу. Тбилиси – мой самый любимый город в СССР. Я тут проводил недели и месяцы, и теперь ты мне говоришь, что тут убийцы и насильники? Ты вообще в своём уме?

— Не вздумай маме говорить, где мы были.

— Твоей или моей?

— Обеим. И не оставляй меня больше одну, мне страшно. А лучше давай поищем что-нибудь в Адлере. Ну и что, что вперёд заплачено. Спокойствие дороже.

— Извини меня, конечно, но ты дура, — сказал я.

— Сам дурак, - ответила она. — Ни понятия, ни ответственности. Ужас.

Через некоторое время я уговорил её поехать в Тбилиси ещё существовавшим тогда поездом 625. Хотел показать живой и современный город, пульсирующий на тысячелетнем фундаменте. Зашли в вагон. Кроме нас в купе была женщина, командировочная из центральной России. Одно место было свободно.

Поезд тронулся, и мы уже обрадовались, что одним соседом в купе будет меньше, как вдруг недостающий пассажир всё-таки появился. Это был... да-да, грузин, лет двадцати с небольшим, крайне привлекательной наружности, если не сказать, просто красивый, очень приветливый и улыбчивый. Поезд отправился поздно вечером, так что пассажиры засобирались спать. Стала укладываться и Люда, да и командировочная соседка тоже. Мы с парнем, чтобы не мешать женщинам, вышли в коридор и как-то незаметно для себя разговорились. Содержание разговора я забыл, но не забыл, что продолжался он примерно до часу ночи. Спохватившись, я пошёл в купе, а парень ещё решил посетить туалет.

Не успел я зайти, как Люда обрушилась на меня с истерикой, насколько истерику можно закатывать шёпотом. Дескать, ты же мне обещал не оставлять меня, я тут вся извелась, откуда я знаю, что у этого черномазого на уме, может, он тебя зарезал уже давно и так далее в таком стиле. Ошарашенный, я перевёл взгляд не командировочную.

— Молодой человек, нельзя так, на самом деле, — сказала она. — Девушка волнуется, в слезах вся сидит, ей не всё равно, что там с вами происходит. Может он вас уже...

— Кто? — чуть не закричал я. — Кто? Этот парень? А ты? — обратился я к Люде. — Когда мы в Адлер ехали, там полвагона алкашей с наколками, их ты не боялась? Нет? Ну, конечно, они все свиньи, но зато наши, ага. А этот парень институт заканчивает, женится скоро, фотографии невесты показывал. Делать ему нечего, как каких-то дебилок

в поезде насиловать. Он со своей внешностью половину Грузии себе найдёт. Параноики, честное слово.

Потом пришёл сосед, и разговоры быстро смолкли. Когда мы проснулись, его уже не было, он вышел перед Тбилиси. Женщины сразу полезли проверять содержимое сумочек, но, к их вящему удивлению, ничего не пропало.

Сам день в Тбилиси прошёл нормально, и на обратном пути ничего не случилось. Потом я пытался вывозить Люду на экскурсии в деревни, чтобы она сама увидела, что грузины и абхазы – вовсе не такие страшные, даже если совсем не говорят по-русски и продают овощи и фрукты раз в пять дешевле, чем на побережье.

Дома я рассказал маме о случившемся.

— Как так можно! Конец двадцатого века, в одной стране ведь живём. Вот, значит, как национальный вопрос решён, да? Это даже не мусульмане какие-то, это христиане, которые приняли эту религию ещё до русских. Меня после Тбилиси от Омска реально тошнит. Сначала тут хоть один город бы построили, какой построили те убийцы и насильники. Можешь себе представить, ей на работе тоже сказали, что я поступил безответственно. Вот если бы в Гагру или в Пицунду бы, в санаторий какой, под охраной и наблюдением, да и вообще, где светло, тогда да, а так, в деревню – ужас. Это они сами ужас!

— Да, конечно, — ответила мама. - Но откуда ей всё знать? Знаешь же, из какой она семьи. Отец-алкаш. Кто её просвещать-то будет?

— Но ты-то понимаешь, что это глупости?

— Глупости, — сказала мама. — Только ты всё равно осторожнее. Шаришься вечно где попало.

Душевная компания

Знал я в Москве одну группу друзей. Они собирались минимум два раза в год в Песчаном переулке у одной девушки. Говорили о том и о сём, докладывали и обсуждали личные новости. Ну, и выпивали, как же без этого. Не пил там только я, но меня никто не заставлял.

И вот, когда уровень подпития достигал определённой отметки, заводился разговор, слово в слово повторявший все предыдущие такие разговоры. Суть его такова.

Д-а-а-а, что мы в этом дурацком городе видим? Сплошные каменные джунгли, а в них и законы джунглей, как полагается. Люди-то – они ж тоже животные, на земле, да-да, на земле они должны жить! А мы себя заперли на седьмых и десятых этажах, не доходит до нас энергия матушки-земли, не доходит. Вот и больные мы все телом и душой. По поликлиникам бегаем, журналы читаем, аутогенной тренировкой занимаемся, йогой всякой, гимнастикой. А это ж искусственно всё, придумано! Земля – она тебе и мать, и кормилица, и поилица, и здоровье тебе даст, и физическую нагрузку, только не медицинскую, а нормальную, естественную. В окно посмотри – там везде «эти глаза напротив». Набили нас в дома и подъезды – никакого личного пространства. А душе – ей ведь тоже место требуется, у неё ж биополе. Вот и сталкиваемся целый день биополями, какое ж тут здоровье-то будет!

Он (то есть, я) из Сибири, не даст соврать: вот где настоящая природа, настоящие человеческие отношения! Был я / были мы однажды в Новосибирске/Томске/Красноярске/Барнауле в командировке/у родственников жены/просто по пьяни. Так мы там в баньку – а оттуда на мороз, снегом растираться. Мы у нас в Москве много снега видим? Вот то-то и оно. А там, на природе, на земле – там ведь и

люди совсем другие. Открытые, свои в доску, если надо что – расшибутся для тебя, но сделают. Там если дружба, то дружба, если любовь – то любовь, а не то, что у нас... Вышли на мороз, на снег – словно всю жизнь друг друга знаем. И в прорубь они ныряют. Да, ныряют. А у нас тут и прорубей-то нет.

Нет, ребята, что ни говори, а жизнь надо менять. Она у нас одна, так мы её всю жизнь в этом каменном мешке и проведём. Всё, вот говорю, как на духу: брошу всё к чёртовой бабушке, поеду в Чеховский район / за сто первый километр с Белорусского вокзала / в Курганскую область / в Сибирь / на Байкал / на станцию Гродеково Приморского края. Буду там на земле / учителем / слесарем / директором дома культуры / дирижёром оперного театра / оператором машинного доения работать. Работать по-простому и жить по-простому. Чтобы потом, как грится, не было мучительно больно.

И так далее, и тому подобное. Каждый раз, из в года в год. Инженер становился ведущим инженером, а потом главным. Капитан обрастал звёздочками и дорастал до военкома. Кто-то женился. Кто-то разводился. Кто-то женился во второй раз и приходил с обеими жёнами. У кого-то рождались дети, у кого-то внуки. Кто-то переезжал, кто-то оставался, где жил. Новые должности, новые мужья и жёны, новые диагнозы. Вот только тема не менялась, и словарный набор тоже. Будто собирались, открывали заслонявленный сценарий и начинали читать его в лицах который уже раз.

Инвалид войны

В восьмидесятые годы я работал непродолжительное время (а я везде работал непродолжительное время) в омском транспортном предприятии «Автоколонна 1253», почившем в бозе году так в 2000, если верить интернету. И была там в бухгалтерии некая Лариса 22-23 лет от роду. А у этой Ларисы был муж, которого она дождалась из армии. А муж этот служил все два года верой и правдой в Афганистане, откуда вернулся совершенно целый, но не такой уж невредимый.

О службе он вообще ничего не рассказывал. Ни слова не проронил. Будто и не ходил ни в какую армию. Когда его спрашивали, злился, но всё равно не отвечал.

Мама Ларисы, которая работала в этой же автоколонне прачкой (да, существовало там такое министерство культуры) и жила от молодых отдельно, сразу заметила, что с парнем что-то не то. Ну, ей издалека виднее было. Странный он какой-то приехал, ко всем и ко всему присматривается, принимаются, интересуется тем, что его вообще никак не касается, следит за соседями и всё такое.

Сама Лариса сначала ничего не замечала и только отшучивалась. Но вскоре стало уже не до шуток. Муж рассказывал ей об изменениях в уличной обстановке в мельчайших деталях. В Афгане он служил водителем и после дембеля тоже работал водителем. Ездит он утром на работу служебным автобусом, и на одном повороте там мелькает дальняя трансформаторная будка. И вот однажды он Ларисе и говорит, что дверь будки покрасили и при этом закрасили табличку «Трансформаторная». Табличка проглядывает, а это халтура – надо было её отвинтить, покрасить дверь, а потом снова привинтить. Потом сказал, что соседка вынесла ковёр хлопать во двор, причём ковёр не

тот, что был раньше. Совершенно новый, зачем его трясти? А старый куда подевался?

Когда я пришёл работать в автоколонну, Лариса уже чуть не плакала от мужниных заскоков. Он купил ей стандартную омскую зимнюю униформу для девушек, о которой я неоднократно рассказывал. Она ходила в ней до майских праздников, боялась, что он рассердится, когда увидит, что она не носит его подарок. Однажды после работы мы вышли вместе и дошли до остановки. Мне надо было ехать, а она жила недалеко и ходила пешком. Мы о чём-то живо беседовали, но, когда остановились, я заметил, что она постоянно осматривается по сторонам. Вскоре она сказала, что ей надо идти. Не потому, что жарко в шубе на солнцепёке, а потому что муж может начать за ней следить по пути с работы. Нет, пока он ещё не следит, но не надо наводить его на эту мысль.

Не знаю, в этот ли день она навела его на мысль или потом, но вскоре он перешёл на работу в ту же самую автоколонну. К жене поближе.

Когда я уже не работал на автопредприятии, я встретил в городе одну из коллег Ларисы по бухгалтерии. Так рассказала, что мужу Ларисы дали инвалидность по психиатрическому профилю. Пока что третью группу, но динамика нехорошая. Дело явно движется ко второй группе. Инвалидность, понятное дело, по общему заболеванию, кто ж тогда взялся бы подтвердить, что парень на самом деле инвалид войны, о которой он так боялся говорить.

Права у него, естественно, отобрали.

Восьмое марта

И раз уж зашла речь об автоколонне 1253. В штате этой конторы была руководительница художественной самодеятельности. Время от времени она устраивала что-нибудь художественно самодеятельное и даже пыталась вести кружки, которые, однако, мало кто посещал.

По мере приближения Восьмого марта её активность заметно возросла. Она решила провести в актовом зале нечто вроде смотра-конкурса, представлявшего собой гибрид КВН, концерт самодеятельности и игры «Весёлые старты». На сцене должны были быть, естественно, только мужчины, поделённые на три или четыре команды. Каркас сценария она набросала или списала где-то сама, а детали дополнили сами сотрудники по мотивам застрывших в памяти детсадовских утренников.

Как и у всякого серьёзного конкурса, у этого конкурса тоже было уважаемое жюри. Сама затейница, как лицо заинтересованное, в него не входила. Судейскую тройку составили: главный бухгалтер Светлана Валентиновна, хроническая алкоголичка, отправившаяся на стационарное лечение вскоре после описываемых событий, заместитель директора по кадрам и по совместительству секретарь парторганизации Лидия Михайловна, на которой каждый сезон топтался весь ведомственный профилакторий «Автомобилист», а также безымянная полуграмотная вахтёрша-пенсионерка в качестве голоса народа.

Мне было поручено на заданное шуточное стихотворение сочинить песенку, которую одна из команд должна была исполнить под мой же аккомпанемент. Слова были такими (воспроизвожу их, естественно не по памяти, а с помощью всезнающего интернета):

На кухне мотайся и весело пой,
Люби, улыбайся, будь верной женой.
Всегда будь красива, стройна и достойна,
Больная жена никому не нужна.
Всегда успевай в магазин, на базар,
Умей доставать дефицитный товар.
Ходи на концерты, газеты читай,
От мужа в развитии не отставай.
Он книгу читает – ты пол подтирай,
Козла забивает – ему не мешай.
Он смотрит футбол – ты постой у плиты,
Он сядет за стол – ты его обслужи.
Он лёг отдохнуть – ты детишек займи,
Чтоб папе поспать не мешали они.
Будь любящей, ласковой, доброй женой
Внимательной, нежной и милой слугой.
С утра на работу спокойно иди,
Детей в детский сад по пути отведи.
Работу свою исполняй ты исправно,
На то ты с мужчиной теперь равноправна.
Сварливой не будь – не помогут слова,
Ты всё получила – свободу, права.
Но знай, что не даром – за всё нужна плата.
Тебе две руки подарил Бог по благу.
Ты ими умей обнимать и ласкать,
Шить, гладить, стирать, вышивать и вязать,
Держи их в порядке: мажь кремом морщины,
Авось прикоснутся к ним руки мужчины...
Когда приведут мужа пьяного в стельку,
Его положи аккуратно в постельку,
Сама у кровати на стульях поспи,
А утром чекушку ему поднеси.
А если супруг не пришёл ночевать,
Не надо в измене его обвинять.
Ведь женщин в Союзе побольше мужчин,
Поэтому нет для развода причин.

Песенка получилась такая же незамысловатая, как и стишок, но эффектная. Исполнявшим её парням она очень нравилась, поэтому и пели они её, как говорится, с огоньком. Затейница даже призналась, что никаких поправок не надо, настолько классным вышел номер.

Но главный анекдот был рассказан позже, когда на обсуждении жюри присудило номеру ноль баллов. Тройка поведала, что хотела остановить выступление прямо посреди песни, настолько возмутительным, оскорбительным и дискриминационным был текст. Читать или петь такое именно к Международному женскому дню было признано невиданным кощунством. Стихи якобы проповедовали и насаждали то, что во всём Союзе нещадно критиковали все, от журнала «Крокодил» и до ЦК КПСС.

Неприкрытая ирония стишка понята не была. Одна из тройки судей свои мозги пропила, вторая их в буквальном смысле проѣбала, а третья, похоже, вообще не поняла, где находится и что происходит.

Швейк – уклонист

В зрелом возрасте почти каждый из нас может похвастаться букетом разных хвороб и болячек. Свой букет я таскаю с собой с раннего детства. На составе этого букета останавливаться не буду, это мало кому интересно, да и вообще ни к чему. Но букет большой и пышный, что да то да.

То, что мне, живому (пока что) учебному пособию для студентов медицинских вузов, в армии делать было нечего, в нашей семье разумелось само собой. Сам себя я там совершенно не представлял, толку от ходячей медицинской энциклопедии всё равно не было никакого.

Оставалось объяснить это самой армии в лице военкомата вообще и призывной комиссии в частности.

В приписном свидетельстве я значился негодным к военной службе в мирное время и годным к нестроевой в военное. Была в то время такая формулировка.

В вузы парни шли прежде всего для получения отсрочки от армии по принципу «потом видно будет». «Видно» потом было по-разному. Кто-то женился и делал двоих детей. Кто-то ехал по распределению в особую глушь, где полагалась дальнейшая отсрочка, в надежде отсидеться до двадцати семи лет – выхода из призывного возраста. Кто-то за выигранное время наводил мосты и заводил нужные знакомства, чтобы по окончании института откосить. Кто-то ничего не делал, а тупо ждал диплома, который сокращал до одного года срок службы солдатом или давал право служить два года, но младшим офицером. Ну, а кто-то выискивал учебное заведение с военной кафедрой, чтобы вместе дипломом получить сразу и статус военно-обязанного в запасе с военно-учётной специальностью.

Но с моими диагнозами можно было чувствовать себя спокойно. По крайней мере, я так думал.

Собственно призывная комиссия особых проблем не доставила. Наоборот, во время её прохождения произошёл курьёзный случай. Во время обследования в больнице для приписной комиссии, был сделан снимок черепа, на котором врач увидел признаки внутричерепного давления и ещё что-то странное. И недолго думая, вписал в акт обследования ещё один освобождающий от службы диагноз. На призывной комиссии этот диагноз всплыл, и для его подтверждения меня отправили на дополнительное обследование. Из архива достали тот рентгеновский снимок. Другой врач в другой больнице изучил снимок и вынес вердикт: никаких изменений, никакого другого диагноза, это просто дефект плёнки.

Врач спросил, чем я занимаюсь. Я рассказал. Спросил, хочу ли я в армию. Я ответил, что нет. Он сказал, что я правильно делаю, что не хочу в армию, что он сам пошёл в мединститут, чтобы туда не ходить. Его медицинские предписания были такие: сидеть две недели дома и не высовываться, а через две недели пойти в военкомат и отнести этот акт обследования, выписанный будущим числом. Будут спрашивать о симптомах – отвечать вот так и так. А в больнице делать мне нечего, там для больных-то места нет, а для симулянтов от военкомата – тем более.

Что, как говорится, характерно, я об этом его не просил, деньги он с меня не вымогал, за выданную справку я не заплатил ни копейки. Я и удивиться-то толком не успел.

В военкомат я пришёл с новым, дополнительным диагнозом и отсрочку получил на три года по здоровью, а не как студент – до окончания учебного заведения.

За эти три года многое успело произойти. Например, в армию стали брать студентов. Не каких-то отчисленных и неуспевающих, а самых настоящих действующих. Раньше учёба в вузе гарантировала пять лет покоя. Теперь нет. Повестки приходили многим, но почему-то не всем. По какой

системе отбирали несчастных, никто не знал. Прямо как в сказке, где в город время от времени прилетает дракон, хватая первого попавшегося на улице и улетает. Разве что пятикурсников гребли всех подряд, пока они не успели получить диплом о высшем образовании.

Примерно в то же время у меня закончились три года отсрочки, и посланник злого рока не поленился долететь до моего почтового ящика с повесткой на переосвидетельствование. Знающие люди настойчиво рекомендовали не реагировать ни на какие повестки, потому что пока я числюсь в запасе, визит милиции и принудительный привод в военкомат мне не грозят. Но я и не думал прятаться, ведь за прошедшее время я отнюдь не выздоровел, скорее, совсем наоборот. Записывать в инвалиды меня было, конечно, преждевременно, но занятие выбирать мне приходилось из весьма ограниченного круга. Во многие профессии дорога была заказана.

Настроение в военкомате напоминало чёрную бурю из последнего визита Рыбака к Рыбке. Народ ходил мрачный, злой и нервный. Тут же выяснилась и причина всеобщей подавленности: медкомиссия, в особенности, её председательша, зверствует и «снимает статьи» со всех подряд. Под «статьями» имелись в виду пункты «Расписания болезней», дающих право на отсрочку. Иллюстрация сказанному не замедлила себя ждать: вскоре председательша медкомиссии с диким ором чуть ли не за ухо вывела из своего кабинета в коридор какого-то парня и ещё минуту истерично изрыгала вслед несчастному проклятия и угрозы.

Подошла моя очередь. Я обошёл по одному всех специалистов, показал каждому документы с диагнозами по его профилю. Все они написали одно и то же заключение: «негоден в мирное время, годен к нестроевой службе в военное время».

Председательшу комиссия оставляла на десерт. Не поднимая на меня глаз, председательша выписала мне

направления на стационарное обследование по четырём диагнозам, включая липовый, ошибочный. Времена изменились. Сверху явно была дана установка брить всех подряд, до кого военкомат сможет дотянуться.

Проклиная себя за пренебрежение советами бывалых не ходить в военкомат ни при каких условиях, я отправился в путешествие по больницам. В одном стационаре мне пришлось провести недели две, зато там подтвердили сразу два диагноза, обследуя, однако, только по одному. Во втором стационаре меня на обследование не приняли, подтвердив диагноз просто так, от печки.

А липовый диагноз снова не обошёлся без курьёза. После того, когда в больнице его с ходу и не вникая в подробности подтвердили, председательша направила меня дополнительно в специальный диагностический центр. И там составили акт обследования, согласно которому я вообще не должен находиться на этом свете.

Особо хочу подчеркнуть: за все эти подтверждения я не заплатил никому ни копейки. Я на самом деле не мог похвастаться пышущим здоровьем, из болезней мне не хватало разве что знаменитого джеромовского воспаления коленной чашечки. Но я был не просто удивлён, а поражён чрезвычайно благожелательным отношением медработников к «военкоматчикам», как называли направленных на обследование призывников. Один совсем молодой врач, наверное, интерн, с которым я разговорился во время его ночного дежурства, прямо признался, что пошёл в мединститут, чтобы не только не пойти в армию самому, но и помогать не ходить туда другим. Остальные не были такими прямолинейными, но желания отправить меня служить я не заметил ни у кого.

Так или иначе, в один прекрасный, как мне казалось, день я вывалил перед председательшей целый ворох актов, заключений, снимков, кардио- и энцефалограмм и компьютерных распечаток.

— Что, думаешь, отмазался? — зло процедила председательша, едва взглянув на документы. — Рожа-то какая довольная, только посмотри. Ничего, скоро погрустнеешь. Ещё плакать будешь. Пойдёшь служить как миленький.

— Да у меня... — начал я.

— А мне наплевать, что там у тебя. Я тут таких историй знаешь сколько каждый день слышу. Приедешь в часть, там разберутся. Если на самом деле прямо совсем больной, отправят назад. А вообще там все быстро выздоравливают. Так, где ты учишься? — Она стала листать бумаги.

— В университете, на математическом, — ответил я.

— Вот и замечательно. Пойдёшь в стройбат, задачи про землекопов решать, понял?

— Я в областную комиссию буду жаловаться, — пообещал я. — Пусть проверят.

— Флаг в руки, — злорадно хмыкнула председательша, выводя свой вердикт «годен к нестроевой службе». — Всё, свободен. Чего стоишь? Свободен, говорю. Вон отсюда.

Теперь от призыва меня отделяла пустая формальность — передача моего личного дела из четвёртого отделения (запас) во второе (призыв). Изюминка заключалась в том, что сделать это было невозможно без моего личного присутствия. Поэтому таких, как я, со «снятыми статьями», сразу же после медкомиссии препровождали в специальную комнату, где и должно было происходить таинство посвящения в призывники.

В комнате было довольно много народа, стоял обычный для такого скопления людей гул. Время от времени приходили новые обречённые, но никто почему-то не выходил. «Всех пускать, никого не выпускать?» Странно.

Вскоре нам объяснили причину задержки. Начальник четвёртого отделения, который должен оформлять документы, поехал домой на обед, что он вообще-то никогда не делал, и никак не может уехать обратно. Транспорт что-то

не ходит. Не то, чтобы совсем не ходит, но нужного маршрута нет. Он позвонил в военкомат с телефона-автомата предупредить, что задержится. Так что присутствующим было приказано сидеть и не дёргаться.

Прошло ещё несколько минут, и в моём мозгу вдруг молнией сверкнула и громом прогремела мысль: это же шанс! Тот самый шанс, которому в любом западном языке присвоили бы определённый артикль – the chance! Может даже, шанс выжить чисто физически. И не использовать его я не имею права.

Тут мой внутренний голос – мой собственный, не чужой и не сверху, а именно что мой – приказным тоном произнёс знаменитое евангельское «встань и иди».

Я встал и ушёл, не обращая внимания на окрики.

Потом залёг на дно, только не в Брюгге, а в Омске, конечно. дождался окончания призыва. И пошёл в военкомат за военным билетом, который у меня тогда забрали.

Бабушка, что вела картотеку запаса, услышав мою фамилию, аж руками всплеснула. Я сказал ей, что уезжаю. А чтобы оформить выписку, мне нужен военный билет.

— Сынок, миленький, — запричитала бабушка, — только ты правда выпишешься, а? Пообещай, что выпишешься. У меня и так тут столько всего... Не подводи меня, хорошо? Я тебе военный билет отдам, вот он, держи. А ты прямо отсюда – и в паспортный стол, ладно?

Я клятвенно пообещал и обещание своё сдержал. Тут же пошёл в паспортный выписываться из квартиры, где жил до того и после того, до самого отъезда. Через день мне там выдали так называемый «адресный листок убытия», мой паспорт со штампом «выписан» и военный билет с отметкой о снятии с учёта.

Почему-то мне захотелось порадовать ту бабушку в военкомате. Я пошёл туда и показал ей документы о выписке. Оказалось, она уже знала о выполненном мной обещании, так как паспортистка была у неё с моим военным билетом

для снятия с учёта. Тем не менее, бабушка воспользовалась случаем и поблагодарила меня. На радостях я дал ей обещание не прописываться обратно до исполнения двадцати семи лет, то есть, до выхода из призывного возраста.

Уже у порога военкомата я вдруг услышал знакомое карканье. Председательша всё ещё сидела в военкомате. Подсчитывала, наверное, сколько пакостей она смогла сделать за окончившийся только что призыв.

Я пошёл на голос. Дверь в кабинет была приоткрыта, председательша сидела одна и разговаривала по телефону. Заметив меня, она рявкнула:

— А тебе чего тут надо? Вон отсюда!

— Чтoб ты сдохла, — медленно и чётко произнёс я.

— Чего?!

— Чтoб ты сдохла! — я повторил слова с расстановкой и с самой лучшей дикцией, на которую был способен.

И ушёл.

Жизнь в старом, аналоговом мире была не проще и не сложнее жизни в мире сегодняшнем, цифровом. Она была ни лучше и не хуже. Она была другой. Что-то непредставимое в одном мире являлось или является самим собой разумеющимся в другом.

Например, выписавшись из собственной квартиры, я выпадал из поля зрения военкомата. Страничку со штампом «Выписан» я осторожно удалил из паспорта. За последовавшие годы никто не заметил, что страницы в паспорте идут не по порядку. За это время я закончил университет, поменял три работы, не совавшись, однако, в предприятия и организации с первыми отделами. Ездил по стране, возил из Москвы в Омск дефицитные товары и ни в чём себя не ограничивал. Нынче такое, конечно, невозможно. Сейчас каждый человек на учёте, каждый просматривается и проверяется, на каждого есть единое личное дело.

Прописываться обратно в свою квартиру я пошёл чуть ли не в день рождения, когда мне исполнилось заветные двадцать семь. Призыв мне больше не грозил, а вот прописка была нужна позарез — я собирался валить, а без прописки загранпаспорт не получить. Пару месяцев я потратил на сбор документов для ОВИРа, старательно игнорируя повестки из военкомата на медицинское переосвидетельствование. Тратить время на подобные глупости я больше не мог. Каждый день, который не приближал меня к загранпаспорту, я считал прошедшим впустую.

В перечне документов на загранпаспорт (а я честно оформлялся сразу на ПМЖ, хоть это было в разы муторнее и дольше) значилась справка из военкомата о снятии с учёта. Так что мне предстоял последний визит в хорошо знакомое учреждение.

На входе я столкнулся с каким-то парнем, который вскоре окликнул меня уже с улицы. Оказалось, что он был в той самой комнате, где новоиспечённые призывники со «снятыми статьями» ожидали документального оформления своего несчастья. Был там как раз тогда, когда я вдруг при всех встал и ушёл. Поэтому он меня и запомнил.

Он рассказал, что большинство из присутствовавших в комнате на самом деле отправилось в стройбат, в самый что ни на есть Чернобыль. Тогда это была тема номер один в стране. Отслужил полный срок, теперь ходил по инстанциям, собирал документы на инвалидность. По общему заблуждению, естественно, кто ж ему стал бы военную пенсию платить.

Бабушка, к которой я приходил, была уже на пенсии. А с председательшей произошла странная история. Она на самом деле скоропостижно скончалась вскоре после моего искреннего пожелания. Причину и обстоятельства её смерти никто назвать не мог, слишком много работников поменялось там за прошедшее время. Но о внезапно умершей в расцвете лет врачихе так или иначе слышали там все.

Пацифистом я никогда не был и понимал, что армия вообще-то нужна. Только лично мне туда было нельзя по жизненным показаниям, даже если председательша была другого мнения. Я не был диссидентом, а мой поступок – протестом против чего-то или выражением чего-нибудь. Разного рода системные протесты – это не ко мне. Тогда лишь сработал банальный инстинкт самосохранения.

Конечно, родину надо защищать. Вот только армия в позднем СССР занималась чем угодно, только не защитой родины, которой – что всем было очевидно уже в те времена – никто и не угрожал.

Отец, старый железобетонный сталинист самого наваристого энкэвэдэшного разлива, отреагировал на мои манипуляции так, как и должен был отреагировать. Когда он понял, что его увещевания сдать властям и пойти в армию не возымели никакого действия, он отправился не куда-нибудь, а в военную прокуратуру. Чтобы меня сдать, для чего же ещё. Прямо по заветам Великого Менеджера.

Но в военной прокуратуре сказали, что занимаются только делами состоящих на действительной военной службе, то есть, с момента принятия присяги и до увольнения в запас. Так как призван я не был и присягу, соответственно, не принимал, то в поле их зрения не попадал. Мой случай, объяснили ему, находится в компетенции обычной, гражданской прокуратуры. Именно там должны были разобраться и, если мои действия образовывали состав преступления, наказать меня по статье УК РСФСР.

В военной прокуратуре мой отец наверняка стал мемом на многие годы. В конце концов, не так уж часто в те годы родители приходили сдавать своих детей по политическим, так сказать, мотивам. Но, как выяснилось и как выясняется до сих пор, бывших сталинистов и кэгэбэшников не бывает. Это навсегда.

Отец продолжал пугать меня всеми мыслимыми и немыслимыми карами всех прокуратур вместе, звонил мне на работу – «беспокоился», не приходили ли уже за мной.

В один не очень прекрасный день мне это надоело. Я пришёл к нему домой показал военный билет со старой, первоначальной записью о негодности в мирное время и сказал, что прошёл медкомиссию и был освобождён от службы ещё на сколько-то там лет, то есть, фактически навсегда. Особо вчитываться в даты и давно истёкшие сроки я ему не дал, но в мою сказку он явно поверил и оставил меня в покое.

Кстати говоря, он и братика моего ходил сдавать органам «за спекуляцию», когда коммерческие магазины и киоски уже стояли на каждом шагу.

Больница

Незадолго перед отъездом довелось мне провести пару недель в больнице. Банальная простуда вылилась хоть и в банальную, но оттого не менее неприятную пневмонию.

Моим соседом по палате был невзрачного вида мужичок чуть за пятьдесят, работавший, по его собственным словам, составителем поездов. Он производил странное впечатление. Вроде бы, простой железнодорожник, но довольно эрудированный и, как он сам утверждал, совершенно непьющий. И говорил он на каком-то загадочном языке – абсолютно без мата, но с неведомыми фразеологическими оборотами, значение которых мне зачастую оставалось непонятным.

В остальном же это был приятный в общении человек, с которым мы вели самые разнообразные разговоры. Мне imponировало его олимпийское спокойствие. Казалось, ничто не может вывести его из себя или заставить врасплох. Он никогда не повышал голос, всё делал обстоятельно, спокойно и без спешки.

Так же обстоятельно и без тени смущения ответил он на мой вопрос о скромных и полузаметных татуировках на самых разных частях его тела. Эти наколки, объяснил он, были сделаны в тюрьме. Ходок у него было всего три, последняя из них – по мокрому делу. Его тюремная биография и уголовная карьера и отображаются на заинтересовавших меня татуировках.

На нашем дальнейшем общении это признание никак не отразилось, но, зная прошлое моего соседа, я ничуть не удивился, когда в нашей палате произошло следующее.

Мы с ним мастерили кипятильник из двух бритвенных лезвий, двух спичек, ниток и проводов. Известная и нехитрая конструкция, о которой я до того, к моему стыду, и

понятия не имел. Говорил мужик как обычно тихо, а в нашей огромной палате на повышенных тонах что-то оживлённо обсуждали. Даже слишком оживлённо, потому что однажды я сделал что-то неправильно, потому что элементарно не расслышал указания соседа.

Тот же спокойно повернулся к шумной компании и не столько сказал, сколько прогремел внезапно проснувшись в нём глубоким басом, напоминающим утробный тигриный рык:

— ША!

Разговоры тут же смолкли. А сосед вернулся к нашему занятию и своим прежним тихим голосом как ни в чём не бывало продолжил:

— Ты проводки с разных сторон закрепляй. Они же не припаянные, ездят туда-сюда. Замкнёт – пробки на этаже вылетят. Будут искать причину и найдут её у тебя в тумбочке. Спешка тут ни к чему. Или ты куда-то торопишься? Нет? Вот и ладушки.

Спорщики для продолжения разговора стали выходить в коридор, а сосед тихо, но чётко произнёс им вслед:

— Вы это, говорите своим, пусть приносят вам чай. Мы тут во какое устройство собираем. Кипятка на целый самовар хватит, чаи по вечерам гонять будем.

Просветление

История произошла в Омске весной 1990, в самое мерзкое время года. Снег растаял или почти растаял, и повсюду образовались гигантские лужи размером с небольшое озеро. Лужи эти обычно никуда не утекали, а стояли до конца мая, постепенно усыхая до непролазной грязи, которая при дальнейшем высыхании твердела, трескалась, пока ветер не разносил её повсюду в виде средней интенсивности пылевых бурь. Пыль скрипела на зубах, прилипала к губам, путалась в волосах. Даже ноги после короткой прогулки были все в земле вплоть до мизинца.

Одно из озёр каждый год образовывалось прямо на нашей автобусной остановке. Для того, чтобы пассажиры могли войти и выйти, в озеро положили несколько островков-кирпичей. Но главная неприятность заключалась в проезжавших мимо машинах, которые могли окатить стоящих на остановке с ног до головы грязной жижей.

Чтобы не оказаться под дождём из промасленной грязи, я ходил не на нашу остановку, а на предыдущую, не такую грязную. Так было и в тот самый памятный день.

Подошёл автобус за номером 72. Он шёл в более-менее чистый центр, но не напрямую, а через другие окраины города. Причём те окраины были ещё страшнее, чем наша. Сначала путь автобуса пролегал по унылой промзоне, переходя в район частной застройки. По краям улицы теснились кособокие, ослепшие, наполовину ушедшие в землю деревянные домики. Всё пространство посередине было залито глубокой жирной грязью, в котором увязло бы любое танковое наступление. По едва угадывавшемуся асфальту ехали машины, поливая грязью друг друга и случайно выжившие редкие деревья. Картина та ещё.

Моё внимание привлёк разговор двух девушек, сидевших прямо за мной. Начался он с того, что одна из них сказала по поводу пейзажа за окном: «Вот такой большой город, а прям как деревня». Вторая что-то ответила, и разговор, как было в порядке вещей в тогдашнем политизированном обществе, быстро скатился в политику.

Одна девушка говорила, что за границей нет такой грязи и такого убожества. Что там строят нормальные дома, и никто не прыгает по кирпичам через грязь. И что одеваются там нормально, а тут надо одеваться как на рыбалку, а то утонешь. Что там чисто, красиво и всё есть. И что по каталогам там заказывают, а у нас их друг другу передают и зачитывают до дыр, как художественный альбом.

Вторая отвечала, что это только в фильмах там всё так красиво и чисто, огни кругом и жизнь кипит. А в тех же фильмах показывают, в каких подвалах люди живут, что куча алкашей и безработных, что со своими проблемами некуда обратиться, оттого столько самоубийств, так как люди не видят выхода.

Первая возразила, что это от человека всё зависит, и что, если ничего не менять, так и будет кругом эта грязь, а они дальше будут носить дурацкие искусственные шубы с дебильными дутыми сапогами, в которых ноги не дышат.

А вторая говорила, что пусть у нас не так богато, пусть мы и живём скромно, пусть одеваемся неброско, пусть у нас витрины не сияют, но зато у нас справедливость и есть куда обратиться, если что. И работа есть, какая-никакая, без куска хлеба не оставят и пропасть не дадут. И лучше ходить в искусственной шубе, чем просить подавание и бросаться с моста. И что она не хочет, чтобы менялся строй, если надо, она будет за это бороться (или сражаться, я точно не помню).

Первая ответила в смысле «ну ты и дура», а вторая парировала, что первой крыть нечем, только и остаётся, что обзывать по типу «сам дурак».

Я слушал этот разговор и подумал, что эта борьба (или сражение) – не моя война и не моё дело. Участвовать я ни в чём не собираюсь, никакого дела до их (вот это «их» - самое главное, ключевое слово) разборок мне нет. И тут же поймал себя на мысли, что отделяю себя от «них».

А дальше было, как в старом еврейском анекдоте: «не знаю, о чём вы говорите, но ехать надо». Мысли в порядке в тот день, может, и не привёл, но первый раз в жизни почувствовал (пусть и не сформулировав это отчётливо), что пора валить. Не из-за грязи или искусственных шуб с дутыми сапогами, а по куда более фундаментальным причинам. К 1991 году стало совершенно очевидно, что Россия взяла твёрдый курс на национализм с последующим нацизмом. По сравнению с тем, что надвигалось, совок со всеми его извращениями воспринимался как невинная шалость. Очевиден был и приближающийся конец Союза.

Больше всего я боялся остаться в «новой независимой России» после распада СССР. Поэтому я решил сначала уехать в какую-нибудь республику, пока это было ещё возможно, и там не спеша готовиться к «настоящему» отъезду. В какой-то сотне километров от нас начинался Казахстан, но мне хотелось устроиться где-нибудь западнее, поближе к цели дальнейшего путешествия.

Последовавшие события сделали все эти хитромудрые передвижения ненужными.

Баку – Ереван

Перебои с чаем в СССР начались в конце 1980х, а в 1989 году он пропал окончательно. Звонок знакомым в Москву был лишь пустой формальностью. Конечно же, в Москве его тоже не было. Тогда мы решили, что в Казахстане-то чай точно есть. Как это казахи – и без чая?

Я позвонил в Алма-Ату по нескольким совершенно случайным номерам и узнал, что чая там тоже нет. Дескать, за три рубля продаётся грузинский мусор в пакетиках. Вероятно, на чайной фабрике мусор выносить были неохота, вот они его с пола собирали, расфасовывали в пакетики и продавали. Зелёный чай ещё есть, сразу целыми ветками.

Что такое советский зелёный чай, мы все прекрасно знали. Если заварить листья и ветки обычных кустов с газона, то получившийся напиток будет вкуснее и ароматнее.

То же самое мне сообщили и из Ташкента, куда я тоже позвонил по нескольким номерам наобум.

Однажды мама на базаре купила что-то у азербайджанцев. И один из них рассказал, что привёз с собой из Баку чай, потому что тут его не продают.

Информацию мы сочли вполне правдоподобной. Назавтра же я поездом Новосибирск-Адлер поехал на юго-запад.

Впечатления от города описывать не стану, речь сейчас не об этом. Поезд приехал рано утром, как раз к открытию магазинов. Первым делом устремился в ближайшую булочную. Как и следовало ожидать, чай в продаже там был. Но над кассой висела грозная надпись, запрещающая выдачу в одни руки больше пяти пачек.

Я взмолился, дескать, как же так, я приехал издалека, из Сибири. Специально за чаем. Конечно, я могу обходить все магазины по одному и покупать там по пять пачек. Но ведь это долго и мучительно. Продавщица снисходительно кивнула, и я принялся набирать чай в сумки.

Образовалась очередь. Я объяснил людям, в чём дело.
— Ну и времена настали, — сказала тётка сразу за мной.
— За обычным чаем через полстраны надо ехать. Издеваются над народом как хотят.

— Да что ты парня мучаешь, — зычно обратился к продавщице мужчина в самом конце очереди. — Что ты ему эту отраву продаёшь? Видно же, что человек издалека. У тебя ж полно тридцать шестого чая, так дай ему!

— Где ты видишь у меня тридцать шестой? — вяло отмахнулась продавщица.

— Да полный магазин его у тебя, на прилавке только нет, — напирала очередь, так что продавщица сдалась.

— Выкладывай всё обратно, — приказала она мне.

Как по мановению волшебной палочки, на свет появились две коробки тридцать шестого чая. Сколько пачек было в каждой, я не помню, но их было много. Вне себя от счастья, я поблагодарил очередь и продавщицу, рассчитался, оставив сдачу, и вылетел из магазина.

Вывеска на стене почтового отделения предупреждала, что пересылка чая за пределы Азербайджанской ССР категорически запрещена приказом Министерства связи. Я посмотрел на свои коробки и печально вздохнул.

— Давай сюда, что там у тебя, — обратился ко мне пожилой усатый почтовый работник.

— Чай, — ответил я.

— Да вижу я, что чай. В стандартные коробки он не влезет, слишком уж его много. Надо так упаковывать. Да не бойся, что с ним может случиться, это ж не стекло.

Я возликовал. Через несколько минут обе коробки представляли собой два холщовых мешка. На одном из них был надписан наш с мамой адрес, на другом — адрес отца: мои родители к тому времени были в разводе. Почтовый работник взвесил посылки. Пересылка стоила что-то около 18 рублей. Я подал четвертную.

— Так нормально?

Чай пришёл домой как раз в тот день, когда была открыта последняя пачка из неприкосновенных запасов.

А меня нелёгкая понесла дальше, в Ереван, хотя карабахский конфликт уже пылал всюду. И по пути туда произошла со мной интересная история.

В Ереван я поехал только потому, что между Азербайджаном и Арменией по инерции пока что сохранялось транспортное сообщение. Например, ходил ежедневный поезд номер 658 «Баку – Ереван» (обратно он ехал под номером 657), который меня и заинтересовал.

Соседями по купе оказались два мужика примерно сорока лет. Мы тут же познакомились и даже немного поиграли в карты. Потом один из них вдруг стал жаловаться на нестерпимую жару. Это было несколько странно, так как никакой жары не было, да и вентиляция в поезде работала.

Тут в кустах обнаружился рояль. Попутчик стал поддакивать и достал из чемодана две маленькие, на стакан, бутылочки «Фанты». Тогда она только начинала везде продаваться и пока была деликатесом. Я её обожаю.

Друзья открыли «Фанту» и стали с наслаждением пить. Потом спохватились и предложили бутылку мне. Я сначала отказывался, дорогой же напиток, но они настаивали, и я согласился, скорее, из вежливости. В конце концов, мне они предложили «Фанту» тоже из вежливости.

По крайней мере, я так поначалу думал.

Я открыл бутылку...

... «и немедленно выпил» (С).

Через какое-то время (а счёт времени я как-то незаметно потерял) я обнаружил, что не понимаю, о чём эти двое говорят. Вроде, по-русски, вроде, слова все знакомые, предложения правильно построены, а связать всё вместе не получается. Смысл сказанного не доходит. А потом я вдруг забыл, сплю я или нет. Судя по ощущениям – сон. Но разве такое бывает, что снится происходящее на самом деле?

Ведь я хорошо помню, что брал билет и сел в этот поезд. Это же было в реальности. Или нет?

Тут один из соседей повернулся ко мне и спросил, есть ли у меня с собой деньги, и если есть, то сколько.

Я ответил.

«Так давай их сюда», — сказал он самым спокойным и доброжелательным тоном.

И протянул руку.

Я вытащил деньги и отдал ему.

«Сейчас будет твоя остановка», — продолжил он. — «Тебе выходить.»

Прекрасно помня и понимая, что еду я, вообще-то, в Ереван, я, тем не менее, собрался и вышел на ближайшей остановке, в каком-то посёлке.

Очнулся я в медпункте, на кушетке под капельницей. Фельдшер, увидев, что я пришёл в сознание, улыбнулся, поздоровался и поздравил с возвращением в реальность.

Оказалось, что в этом районе орудует целая банда, подсыпающая жертвам в еду или напитки разные транквилизаторы. По сути, старые знакомые клофелинщики после курсов повышения квалификации.

В медпункте я провёл ещё около часа, в течение которого отвечал на вопросы появившегося тут же милиционера и подписал протокол. Заодно обнаружил в кармане забытые деньги. Сумма небольшая, но, если бы я про неё помнил, отдал бы мошенникам и её. Милиционер сказал, что этих денег с лихвой хватит на автобус до Еревана. Ведь следующий поезд пройдёт только завтра.

Автобусной станции как таковой в посёлке не было, лишь на шоссе имелось некое подобие остановочного пункта. Милиционер отвёз меня туда, пояснив, что останавливаются здесь только рейсовые автобусы с азербайджанскими номерами. Автобусы с армянскими номерами проходят мимо. Боятся, мало что кто там поджидает. Но если увидят милицейскую машину, то точно не

остановятся, независимо от номеров. Подстав и псевдомилиции на дорогах масса. Так что ему остаётся лишь пожелать мне счастливого пути и быть осторожнее.

Как ни странно, подобрал меня именно автобус с армянскими номерами.

В автобусе один из попутчиков стал объяснять мне причины Карабахского конфликта, причём я обязательно должен был ему поддакивать и принимать армянскую сторону. Неожиданно для себя я выпалил: «Я сейчас только был в Азербайджане. Там мне рассказывали одну версию, по которой я должен был быть за Азербайджан. Сегодня ты рассказываешь мне противоположную версию, по которой я должен быть за Армению. Так вот, скажи, почему я, не азербайджанец и не армянин, который живёт наполовину в Омске и наполовину в Москве, должен вникать во все эти детали и принимать чью-то сторону. Даже если я чисто эмоционально за армян, потому что у меня подруга была армянка, хоть она меня и бросила, но тем не менее — я-то тут причём? Я ж просто за чаем приехал и решил съездить на другую сторону, вот и всё».

Тут я понял, что снова сказал ересь, и мой собеседник не дал мне опомниться. «Конечно, — сказал он, — если тебе всё равно, что произойдёт со страной, тогда да, какое тебе дело». «Мне не всё равно, — пытался оправдываться я. — Может, я за страну ещё больше переживаю, чем Горбачёв». «Надо не переживать, — сказал сосед, — а надо не быть равнодушным к тому, что делается. А тебе пофиг. И большинству в стране пофиг, есть страна или нет. Вот и нет её больше.»

Он был прав на все сто процентов и во всех аспектах. Тем более, что летом 1990 года СССР существовал лишь на бумаге. Фактически его уже не было. И мне понадобилось ещё несколько месяцев, если не год, чтобы самому для себя понять: ни останки СССР, ни РСФСР не являлись

для меня больше ни домом, ни родиной, страстным патриотом которой я был ещё пару лет назад. Родина превратилась для меня в «эту страну», место проживания. Ведь должен же я где-то числиться. Ну, вот и числился.

В Ереване был у меня один знакомый. Каким образом он нарисовался и откуда выплыл, я сказать не могу. Очень уж много времени прошло. С трудом вспомнил, что звали его Толик. Именно так, Толик, он и просил себя называть.

Работал он в местной ежедневной газете редактором, журналистом или кем там ещё можно работать. Во всяком случае, я видел его там сидящим за столом и набиравшем тексты аж на компьютере. Наверное, были тогда уже компьютеры, тем более, в республиканских газетах.

Чуть ли не с первого письма он настойчиво стал приглашать меня в гости. Ну, вот очень настойчиво. Сказал, что хоть и живёт с матерью, женой и двумя детьми, но в августе будет неделя, когда жена с детьми уедет к своей маме, а он останется со своей в четырёхкомнатной квартире. Мне обязательно нужно приехать, тем более что как раз на это время запланированы какие-то жутко интересные мероприятия, куда можно будет попасть только по журналистскому удостоверению, которое у него, естественно, было. Узнав, что я написал небольшую сказку, он принялся настаивать, чтобы я обязательно прислал её ему, а он найдёт способ опубликовать её либо на русском, либо в переводе, на языке этой республики.

А главная причина, по которой я обязательно должен был приехать именно в августе 1990, заключалась в том, что в сентябре он уезжал на два года в Москву учиться не где-нибудь, а в Высшей партийной школе. Сам по себе факт существования этого заведения в 1990 году вызывал удивление, но, так или иначе, оно работало и даже, как видно, осуществляло набор.

Приехал я на поезде в разгар обычного рабочего дня и сразу поехал к Толику домой. По названному адресу располагалась типичная брежневская многоэтажка-свечка, не вызывавшая никаких подозрений.

Дверь открыла женщина в годах — мать Толика. Она была крайне удивлена моим появлением, сказала, что ничего обо мне не знает, никогда обо мне не слышала и что сын её ни о чём не предупреждал.

Женщина принялась звонить Толику на работу, но телефон был постоянно занят. Она объяснила, что это глюк их телефонной сети. Незадолго до того при строительстве по соседству повредили кабель, вот телефон и работает теперь через пень-колоду. Я сказал, что буду дозваниваться параллельно, из телефона-автомата во дворе.

Дозвониться, однако, и я не смог, а вскоре меня вообще прогнали, дескать, я только балуюсь и автомат занимаю.

Я снова поднялся на этаж и услышал разговор матери Толика с сыном. С соединением ей повезло больше.

«Мне надоели твои выходки, — кричала она, — и надоел этот проходной двор. Откуда ты их только выкапываешь? Сколько можно!.. Где я жратву достану? Наколдую, что ли? Притащил его сюда, вот сам его и корми.»

Дальше разговор продолжался в том же ключе. Я подождал его окончания, постоял на лестничной площадке ещё минут пять для верности и лишь потом нажал кнопку звонка. Я сказал, что дозвониться до Толика не смог, но зато вызвонил одного своего знакомого, который обещал помочь с ночлегом. Мать Толика не выразила по этому поводу никаких эмоций, а только выставила мой чемодан, который я оставлял в квартире, попрощалась сквозь зубы и закрыла дверь.

Конечно, никакого другого знакомого у меня в этом городе не было. Устроиться в таком городе в гостиницу можно было даже не пытаться. Пока я доплёлся до вокзала, начало темнеть. Билетов не было ни на каком направлении

и ни на какое число. Я подумал, что в крайнем случае выберусь как-нибудь на автобусах или электричках. Хорошо хоть, что вокзал на ночь не закрывался. Чемодан я сдал в камеру хранения и смог даже немного подремать.

Наутро я отправился в редакцию. Толика я нашёл быстро – на двери кабинета была вывеска с его фамилией. Как я уже сказал выше, он сидел и сосредоточенно печатал что-то на компьютере.

Это был маленький, плюгавенький человечек с врождённым уродством лица. Видно было, что его пытались оперировать, но особых успехов при этом не достигли. Из-за такого жуткого дефекта он сильно шепелявил и постоянно сопел, так что понимать его было очень сложно.

Ничего не объясняя, он тут же вскочил и повёл меня на улицу, предложив обсудить мои проблемы по пути. Но как раз это сделать не удалось, потому что всю дорогу в автобусе он бубнил себе что-то под нос, из чего я не смог разобрать ни слова.

Автобус привёз нас в необычайно красивый район, утопающий в невиданных цветах и источающий неслыханные запахи. Толик уверенно повёл меня в здание, напоминавшее дом быта и им же и оказавшееся. Если не считать воркующих в окошке кассиров, дом был совершенно пуст.

Толик подошёл к окошечку, расплатился, взял квитанцию и повёл меня по сырому коридору, закончившемуся огромной, выложенной кафелем помывочной комнате с многочисленными душевыми колонками, кранами и скамейками. Как и всё здание, душевая была пуста. Ни души.

Толик сказал мне раздеться. Сам не знаю почему, но я повиновался. Он включил душ, затащил меня под струю и стал играть с моими гениталиями. Я пытался отстранить его и говоря, что мне такие игры неинтересны, что я не хочу и вообще, не отвязался бы он от меня по-хорошему. Но он и не думал меня слушать. Наоборот – опустил на колени и стал...

Ничего он не стал. Я шарахнул коленом прямо в его уродливое лицо, уничтожив, наверное, результаты одной-двух операций. Толик упал на бок, из разбитого лица, или что там ещё было, потекла струйка крови. Ужас от содеянного вызывал в памяти одну за другой статьи Уголовного кодекса, как Толик вдруг пошевелился, что-то промычал и даже попытался встать.

Я быстро оделся и ушёл.

Но главная проблема так и не была решена – я не знал, как выбраться из этого города Зеро, откуда билетов не было ни на какой вид транспорта, ни на какой день и ни по какому направлению. Мало того, мне и жить-то негде было. Не на вокзале же обустраиваться.

После обеда я снова пошёл в редакцию. Толик сидел на своём обычном месте и печатал. На уродливом лице – ни пластыря, ни повязки. Уффф, отлегло.

Я спокойно, в ультимативной форме потребовал от него достать билет на сегодняшний вечерний поезд. Хотя откуда достать, высосать или напечатать – но мне нужен билет. Точка. Иначе я прямо сейчас расскажу всем об утреннем происшествии. Будет ему тогда и Москва, и партийная школа, и всё остальное.

Мы пошли на вокзал, это было совсем недалеко. Толик пошёл напрямик к начальнику и через некоторое время вышел с какой-то бумажкой. Это была записка в кассу. Я сказал, что расстанемся мы только после того, как у меня на руках будет не какая-то писулька, а нормальный билет. Так что пришлось вместе пройти в специальную кассу для военнослужащих, где мне без очереди выписали проездной документ на уже стоявший под парами поезд.

«Зря ты так, – сказал Толик. – Развлеклись бы хорошенько. Баня – это ж так, для знакомства. А я и другие места знаю, тебе бы понравилось. Такого ты точно не видел. Жалеть потом будешь.»

Я ничего не ответил.

«А ты красивый», — заключил он.

«Я знаю, мне это уже говорили», — ответил я.

И направился к камере хранения, не прощаясь и не оглядываясь. Взял чемодан, прошёл к поезду, показал проводнику билет и вошёл в вагон.

Не было в СССР секса. Не было. Говорю как на духу. А на «Фанту» у меня с тех пор аллергия. Самая обычная.

Искусство — в массы

Последний год перед отъездом я фактически жил на два города: в родном Омске и в Москве. В столице постоянно находились какие-то дела, надо было что-то узнать, отдать, передать, заполнить, заплатить и где-нибудь расписаться. Одновременно действовали как новые либеральные законы, так и старые советские ведомственные инструкции.

В то же время начался закат знаменитых «видеосалонов» в палатках и гаражах, где люди, стуча зубами от холода, высматривали из-за спины соседа спереди Сильвестра Сталлоне или Джеки Чана. Видеомагнитофоны и кассеты к ним хлынули в страну бурным потоком, а те, кто успел вовремя сориентироваться, стали лучше зарабатывать и больше себе позволять. Так что собственные «видеаки» перестали быть предметом роскоши для избранных работников МИДа и переходили потихоньку в разряд обычной бытовой техники.

В Москве как-то сами собой нарисовались два новых знакомства. Один «человечек» имел выход на прямых импортёров видеокассет, которые тогда пока что ввозились чемоданами, а не вагонами. Второй нашёл себе нишу, записывая со спутника эфир MTV. Так как работать я собирался в Омске и конкуренции им не составлял, договориться с ними о покупке новинок было делом техники.

Как именно у меня появился двухкассетный видеомагнитофон, я не помню, но применение я ему нашёл: изготовление качественных «первых» копий для дальнейшего копирования другими. Из Москвы я возил оригиналы.

Готовую продукцию я сдавал «на реализацию» (оплата за фактически купленные кассеты) в коммерческий магазин, торговавший всем подряд. Бизнес работал как часы.

И вот однажды я привёз киноклассику: пару фильмов про Джеймса Бонда, «Унесённые ветром», «Джинджер и

Фред» и ещё что-то в этом роде. Не для копирования, а для себя. Просто посмотреть, вокруг чего идёт такой кипиш.

Посмотрел, оценил, проникся и отдал кассеты в тот же магазин на реализацию.

Лежали кассеты долго, а потом продались вдруг в один день. Якобы пришёл мужик, увидел эти кассеты и купил все сразу.

То же самое произошло и со следующей порцией киноклассики. Только теперь покупатель передал мне записку с пожеланием привезти по возможности что-нибудь из архауза. В смысле, авторское кино.

А потом продавец рассказал, что некоторые покупатели регулярно заходят и спрашивают, нет ли чего нового из серьёзного кино. То есть, спрос на настоящее искусство был даже в те самые смутные и голодные времена. Другое дело, что денег на нём было не заработать. Прибыль давали боевики, ужасы, порнуха и MTV без начала и конца.

Прибалтика

Две недели непосредственно перед ГКЧП 1991 года я провёл в Прибалтике. Я поставил себе цель побывать во всех советских республиках, оставив три прибалтийские напоследок. Когда я добрался до них, они были уже фактически независимыми государствами, прилежно возводящими границы. Вовсю говорили о введении въездных виз, но в Питере мне продали железнодорожный билет в Эстонию без всякой визы. Поезда советских ещё маршрутов ходили из Белоруссии и России в Прибалтику по инерции.

Я немножко поездил по Эстонии, в Латвии побывал только один день в Риге, а вот в Вильнюсе и в Каунасе меня ждали два дела, суть которых для сего рассказа несущественна. Покончив с делами в Каунасе, я возвратился в Вильнюс, пошёл покупать билет на Москву (да-да, тогда ещё ходил фирменный поезд «Лиетува» Вильнюс-Москва) и выяснил, что билетов на сегодня нет, есть только на завтра. Это было ужасно, но что делать. Я подумал, что надо бы позвонить тем людям в Каунас и попроситься на ночьлег, когда заметил неподалёку маленькую хрупкую девушку. Она качалась под тяжестью рюкзака, сопоставимого с ней самой не только по весу, но и по размеру. Меня это ничуть не удивило, так как тогда было время расцвета челночного бизнеса вообще и польского в частности. Борясь с центром тяжести, девушка добралась до кассы и свалила с себя рюкзак. Купив билет, она попыталась надеть его снова, но стало ясно, что без посторонней помощи ей не справиться.

Я подошёл и предложил помощь. Как-то само собой вышло, что помощь эта включила в себя покупку билета на тот же поезд, а также сопровождение её до дома в какой-то деревне. Всё равно надо было время убить. Рюкзак я

понёс сам, не понимая, как такое миниатюрное создание могло его тащить – сначала до места в вагоне, а потом уже до её дома. Тогда же я узнал о существовании экзотических поездов, вроде «Даугавпилс – Шауляй», «Радвилишкис – Клайпеда».

Дома мои подозрения оправдались – рюкзак был битком набит челночным товаром в виде разных шмоток. Одновременно выяснилось, что на меня там ничего не было – почти вся одежда была женской. Я познакомился с её семьёй, и мне было предложено у них переночевать, тем более что поезда в Вильнюс сегодня больше не было, а до автобусной остановки было очень далеко.

Обсудили, естественно, текущие дела, насколько хозяевам дома позволяло знание русского языка. Я узнал, что в принципе, в общем и целом, Литве было в СССР не так уж и совсем плохо, что ещё в 1989 году о независимости и выходе из Союза никто и не помышлял, что большинство считало, дескать, раз уж тут очутились, то что поделать. Новый союзный договор нужен был по чисто принципиальным соображениям – чтобы остаться, но уже на добровольных началах. Сделает, мол, Горбачёв поменьше идеологии и побольше экономики и прагматизма – и ладушки.

Но на деле вышло по-другому. Перестройку Горбачёв начал, не имея ни малейшего понятия, что как работает и как оно должно работать. Отсюда вся его зигзагообразная политика без какого-либо плана, движение куда глаза глядят и – главное – попытки угодить всем, и остававшимся у власти железобетонным ортодоксам-консерваторам, и либералам с «новым мышлением». В результате он только перессорил всех между собой, а себя – со всеми. Начался откровенный бардак, а заодно появились и мысли о независимости, потому что разные республики стали двигаться не только с разной скоростью, но и в разных направлениях. Раньше направление и скорость определяла идеология, а потом её не стало. Попытки силового решения проблем и

вильнюсский расстрел в особенности окончательно поставили точку невозврата (путч состоялся потом, дней через пять после этого разговора). Собственно, Союз тогда уже перестал существовать, у него не было не то, что будущего, но и настоящего, так что мы говорили лишь о его прошлом. Я рассказал о том, как осуществил свой план посетить все республики, и ещё сказал, что жалко, если будут границы и визы. На что мне сказали, что, может быть, когда-нибудь мы уже как граждане совершенно других стран сможем свободно ездить друг к другу. Ведь ездит же Европа туда-сюда, не задумываясь о каких-то там границах. И надо же так случиться, что их предсказание сбылось.

Но рассказываю я всё это вот для чего. В том далёком, тёплом ламповом СССР, у меня даже и в голову не пришло взять рюкзак с товаром и сбежать. А у доверившей мне драгоценный груз девушки и мыслей не возникло, что я могу это сделать. Её семья впустила меня в дом и оставила на ночь, даже не спросив паспорт. Я мог назваться кем угодно и обокрасть их только так. Но я этого не сделал, а они были уверены, что я этого не сделаю. Доверия тогда было больше, что ли.

Как-то получилось, что у меня с собой была бутылка шампанского. Из Риги в Вильнюс я ехал с тремя литовцами лет чуть за двадцать. По-русски один не говорил совсем, а остальные чуть лучше, чем никак. Чтобы разрядить напряжённое молчание, я достал бутылку и предложил её оприходовать. Откуда-то появились и стаканы. Когда я разливал шампанское, парень, который не говорил совсем, вдруг открыл рот и выговорил со страшным акцентом: «Ну, проводим старый год...»

Все рассмеялись, и воздух в купе сразу же потеплел. Через минуту-другую можно было решить, что все мы знакомы уже много лет, хотя, как выяснилось после, двое

парней были друзьями, а третьего, который по-русски не говорил, они видели первый раз в жизни.

Этот третий собрался за водкой, когда решили, что именно этого нам для полного счастья и не хватает. Когда я спросил, где он её возьмёт, если этот поезд местного значения и без ресторана, то парни в ответ только рассмеялись – у каждого уважающего себя проводника был с собой целый винно-водочный магазин.

И правда: вскоре на столе стояла фирменная бутылка «беленькой». Разлили по первой. Один из попутчиков торжественно произнёс тост «за оккупантов», под которыми подразумевался, естественно, я.

«Разве можно пить за оккупантов?» – удивился я.

«Пить можно за всё!» – ответили мне.

Следующий пост был за конец оккупации.

На вокзале мы тепло попрощались, обнялись, после чего каждый пошёл своей дорогой.

А потом был ГКЧП.

Во время путча по ТВ показывали не только «Лебединое озеро» и программу «Время» с первым и последним указом ГКЧП. Ещё крутили передачу «До 16 и старше», откуда запомнились два сюжета. Первый касался игры в напёрстки. Напёрсточник катал шарик на стеклянной поверхности, а съёмки велись снизу. Таким образом демонстрировалось, что выиграть у него невозможно.

Второй сюжет был про латышских старшеклассников. Именно что латышских, а не латвийских, потому что все они были самыми латышскими латышами из латышской школы. Латышее некуда. И вот они были за социализм, СССР и Латвийскую ССР в его составе. Они считали, что социализм и СССР живы, покуда они живут в умах, сердцах и делах людей. Поэтому они восстановили у себя в школе комсомольскую организацию и наводили связь с

умершим уже райкомом ЛКСМ. Проводили комсомольские собрания, вели агитацию, пытались привлечь одноклассников к комсомольской работе, убеждали других восстановить своё членство в комсомоле. Устраивали ленинские чтения. Говорили между собой только на русском. Носили вроде как отменённую уже школьную форму с комсомольскими значками, причём не только в школе, а вообще. Ходили на митинги Интерфронта. Налаживали контакты и встречались с русской молодёжью и солдатами Внутренних войск.

Движение было довольно серьёзным. Участвовало в нём человек девять, если не все десять.

Не расстанусь с комсомолом

Нам не надо было расставаться с комсомолом. Он сам с нами расстался. Взял и растворился в воздухе. Вот он был, и вот его уже нет. Ровно как мёд в мультике про Винни-Пуха. Комсомольские райкомы закрывались один за другой без объявлений об уходе всех на фронт. Никто не возил мебель, не жёг документы. На дверях не было никаких уведомлений.

В «бегунке» от ОВИРа на получение загранпаспорта заявителям, не достигшим возраста 28 лет, нужно было принести отметку райкома комсомола о снятии с учёта. Собственно говоря, на учёте я и не состоял, о чём несколько раз упоминал в предыдущих заметках. Но, как сказали в ОВИРе, это было неважно. Главное – справка о том, что я снят с учёта в принципе. Где и когда, значения не имеет. Так что предстоял последний поход в райком.

Дверь райкома оказалась закрытой, хотя был самый разгар приёмного времени. Никакого объявления не висело. Я несколько раз постучал, но никто не открыл. Приложил ухо к двери – и ничего не услышал. Внутри было абсолютно тихо.

Прежде чем уйти, я постучал ещё и тут увидел в коридоре завхоза.

— Ну, и чего стучишься-то? Нету там никого. Нету их, а где они все – не знаю. Свалили и ключи на вахту не сдали. Пять экземпляров ключей у них было. Пять! Уходишь – так брось хотя бы один на стол внизу или в гардеробе оставь, что тебе стоит? Так нет же! Теперь цилиндр надо высверливать, замок новый ставить.

Завхоз махнул рукой и пошёл своей дорогой, а я – своей, в ОВИР. Там в графе «снятие с комсомольского учёта» просто поставили прочерк. И все дела.

Вот так от комсомола остался один прочерк.

Прощай, СССР!

История произошла в самом начале января девяносто второго, буквально за несколько дней до эмиграции, вскоре после того, как сатирик Михаил Задорнов, за неимением главы государства, поздравил всех с наступающим новым годом. Я сидел на одном из многочисленных парапетов около Казанского вокзала. Как-то само собой вышло знакомство с парнем чуть за двадцать, который изнывал от скуки так же, как и я, коротая время до своего поезда.

В Москву, как оказалось, он приезжал выяснять отношения с бывшим любовником, который бросил всё (и его в том числе) и уехал в столицу устраивать новую жизнь. Цель поездки достигнута не была, так что на меня обрушился бурный поток слёзных историй и страданий. Сначала я пытался думать о чём-то своём, отвлечься, считать голубей на тротуаре, но парень упорно требовал внимания, рассказывая о своих бедах. Работал он водителем. По неосторожности я спросил, в чём тогда проблема, если у него на работе целый цветник, не сошёл ли же клин на том, к кому он приезжал. Этот невинный вопрос породил новые хныки. Судорожно ища способ избавиться от непрошеного знакомого, я вспомнил, что не купил в дорогу еды, о чём и сообщил, прервав нескончаемые излияния.

Оказалось, что неподалёку есть супермаркет, который тогда назывался ещё по-советски универсамом и который располагался, насколько я помню. Парень сказал, что тоже с удовольствием зайдёт туда посмотреть, что и как.

Внизу нас ждало изобилие. Конечно, по нынешним временам выглядело оно довольно жалко, но тогда выбор казался царским.

— Вот смотри, сколько всего, — сказал я. — Разве могли бы ещё год-полтора назад мечтать, что в обычном

магазине в свободной продаже лежит столько всякой вкусности? Может, и Гайдар плохой, и Ельцин алкаш. Но против фактов же не попрёшь. Последний раз в СССР такое было, разве что, в Елисеевском гастрономе лет двадцать назад, а в нашем дебильном Омске – вообще никогда. До революции только, наверное.

— Да тут прям капитализм, рынок! — парень тоже явно офигел от увиденного. — У нас говорят, что начальство продукты спецом держит на складах и не пускает в продажу, ждёт, пока цены отпустят. Они ж всё по госцене давным-давно скупил. Точно, так оно и есть, так что никакие это не слухи. Я перед самым отъездом зайду сюда ещё, целый рюкзак накоплю, отвезу домой. У нас такого сроду никто не видел.

Я купил несколько банок тушёнки и «Каши гречневой с мясом», пару банок сгущёнки и связку копчёной колбасы. Ну, и хлеба тоже. Денег осталось ровно на постель в поезде. Выйдя на улицу, я понял, что общества моего нового знакомого я не выдержу больше ни минуты. Моя энергия на сегодня закончилась, он всю её выжрал. Соврав, что мне надо на посадку, попрощался с ним и пошёл к вокзалу, где долго и усердно впихивал в чемодан покупки, решая, что повезу домой, а что съем в поезде.

В вагоне я вспомнил, что голоден, как волк. Да и молодая пара, что ехала со мной в купе, разогрела аппетит, вытащив на свет обычный советский железнодорожный набор – хлеб, курицу, яйца – и принялась аппетитно его уминать. Я гордо ждал, пока они всё съедят, чтобы выложить на стол свои козыри. Когда парочка перешла к чаю, я открыл первую банку тушёнки и обомлел: в ней находилась непонятного вида и происхождения жидкость, в которой плавало нечто вроде свиной кожи. Девушку-соседку чуть не вырвало только что съеденным ужином. Я поспешно вынес банку в тамбур и выбросил в мусор. Проблема заключалась в том, что и вторая, и последующие

банки «тушёнки» имели похожее содержимое. Сильно погрузнев, я открыл «Кашу гречневую с мясом». Что именно было в банке, я не помню, но было оно таким же несъедобным. Копчёная колбаса оказалась ни чем иным, как закатанными в оболочку сплошными жилами. Пришлось выбросить и её, поужинав одним хлебом. Хотя он оказался нормальным. Сгущёнку я открывать не стал, зная, что после неё буду голоден ещё больше, чем сейчас.

Утром я рассмотрел своих соседей получше. Парень ничем особенным не выделялся, а вот его спутница была какая-то белёсая, совсем прозрачная, как давно не видевший крови вампир. Они рассказали, что были в Москве на консультации у врача. Девушка страдала от некоей генетической болезни с явными признаками вырождения. Сдавали в Москве анализы, врачи обещали вынести вердикт, можно им делать детей или нет. Родом они были с Барнаула (поезд этот за номером 36 так и назывался Москва – Барнаул). Мою проблему парочка очень хорошо понимала, но у них самих еда была рассчитана тютелька в тютельку. Единственное, что они могли для меня сделать, это выкроить для меня пачку китайской лапши на все два дня. Я был им безмерно благодарен и за это.

Уминая лапшу, я вспомнил о своём мимолётном знакомом. Представил, как он приезжает домой, собирает всю семью, выкладывает свободно купленный в Москве вчерашний дефицит и торжественно вскрывает первую банку.

Дома я открыл сгущёнку. Она была съедобной, но по консистенции представляла собой грубую суспензию и напоминала залитую сладким сиропом крупу. На языке шуршало что-то вроде очень мелкого песка.

А в Омске самым первым частным рестораном было заведение "У дяди Коли", открывшееся буквально сразу же после принятия перестроечного закона "О кооперации". Через некоторое время в подвальном помещении бывшего

магазина коопторга, торговавшего сухофруктами и соками в трёхлитровых банках, в самом что ни на есть наицентрешем центре города открылось кафе "Подвальчик", где готовили только два блюда: манты и мясо в горшочках. То и другое – невообразимая вкуснятина. Получасовой (а иногда и длиннее) хвост очереди занимал всю лестницу. Люди стояли под дождём и мёрзли под снегом, рисковали опоздать с обеда на работу, чтобы только отведать обалденной еды под звучащую неизвестно откуда модную советскую попсу. Мы с подругой иногда вечером ехали в центр с двумя пересадками (около 25 остановок), чтобы отужинать в "Подвальчике". И мы были вовсе не единственными, кто ходил туда как в вечерний ресторан. "Подвальчик" быстро стал местной достопримечательностью.

Его звёздная эпоха длилась примерно год или чуть больше. Потом в мантах стало попадаться всё больше лука и всё меньше мяса, а мясо было, наверное, в каких угодно горшочках, но только не в тех, что подавались в кафе. Качество ухудшалось буквально с каждой неделей при стабильных сопоставимых (инфляция уже тогда набирала обороты) ценах. Очереди начали уменьшаться, пока не исчезли совсем.

Перед отъездом, прежде чем навсегда "покинуть Омск", я ради интереса зашёл в "Подвальчик". Он был совершенно пуст. В гордом одиночестве я проглотил малосъедобные манты, запил булочку мясным бульоном из горшочка безо всякого опасения подавиться проскользнувшим в горло каким-нибудь твёрдым кусочком и поехал на вокзал.

Когда я буквально через неделю-другую получал паспорт с визой в немецком консульстве, то познакомился в очереди с земляком. Только что из Омска. Сказал, что "Подвальчик" на днях закрыли и даже вывеску сняли. Видимо, организаторы кооператива воровали по привычке, так и не поняв, что воруют у самих себя.

Что было дальше

А ведь я помню, «как всё начиналось». В 1988 году делегация омских «так называемых демократов» – перестроечных активистов и будущих членов Межрегиональной депутатской группы – побывала в Латвии. По возвращении они рассказали по омскому местному телевидению о своей поездке, о встречах, знакомствах, впечатлениях и новых «западных» ветрах. Одна из тем передачи – доклад Маврика Вульфсона на пленуме творческих союзов о пакте Молотова-Риббентропа. Ведущий передачи привычно отмахнулся, дескать, тоже мне, нашли новость. У участников поездки это замечание вызвало взрыв эмоций. Это не просто копание в никому не интересных архивах, объяснили они. Теперь этот документ рассматривается как основание считать вхождение трёх прибалтийских республик в состав СССР недействительным. Попросту говоря, их надо немедленно отпускать на свободу, включая вывод оккупационных, как оказалось, и признание их государственного суверенитета. А дальше, по логике вещей, рассматривать вопрос о законности СССР не только как в нынешнем составе, но и как такового.

Ведущий был в лёгком шоке, как, впрочем, и я. Вскоре новости подобного плана посыпались одна за другой, и шокировать нас стало трудно. Но тот день я запомнил.

Говорят, что тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Латвии Борис Пуго был не меньше нашего удивлён докладом, тем более что выступление с ним не согласовывали. С ним – нет. А с КГБ – да. Тогда такие дела без Комитета не делались. Даже мухи летали только с его ведома.

То, что возникавшие чуть ли не во всех республиках одновременно "народные фронты" были произведением КГБ, это давно уже не спекуляция, а признанный факт. Все запевалы, заводилы и руководители "национальных

движений" сотрудничали с Комитетом или даже получали там зарплату. Что характерно, движения эти создавались без какого-либо согласования с партийными органами. Партию очень легко и быстро отодвинули в сторону. Центральные комитеты республик вдруг обнаруживали, что у них под носом действует какой-нибудь "Саюдис", а когда они в ужасе звонили в КГБ, то там отвечали, что это "Саюдис" - какой надо "Саюдис", и что всё идёт как надо. Как надо - кому?

Очевидцы тех событий в унисон утверждают, что республиканские КГБ быстро избавлялись от сторонников СССР, превращаясь фактически в вышестоящую организацию народных фронтов. Латвийский Интерфронт не получил никакой поддержки в КГБ. А в ЦК Компартии Латвии Интерфронту сказали, что боятся его поддерживать, потому что КГБ его не очень одобряет. Большой митинг Интерфронта в защиту СССР был разогнан ОМОНОм, в то время как акции Народного фронта им охранялись.

Как я уже рассказывал, в приснопамятном августе 1991, буквально за несколько дней до путча, занесла меня нелёгкая в Литву. В глухой литовской деревне разговорился я (насколько это было возможно из-за языкового барьера) с местным жителем - моим ровесником. Оказалось, они там тоже чесали затылки, почему вдруг КГБ сделал из невинного "Саюдиса", требовавшего поначалу лишь ослабления насильственной русификации и простого признания существования пакта 1939 года (Москва должна была признать, что никакого добровольного вхождения прибалтийских республик не было, без каких-либо дальнейших последствий), радикально-националистическое движение с одним-единственным пунктом программы - выходом из СССР. Причём эта трансформация произошла буквально за месяц-два. Для Съезда народных депутатов СССР готовилась одна делегация с одними требованиями, а поехала совершенно другая, неизвестно откуда взявшаяся и

радикальная. На съезде эта делегация взяла слово только для того, чтобы послать Советский Союз далеко-далеко и распространить соответствующий меморандум. Ландсбергис поставили по прямому указанию из Москвы. И когда я спросил того литовца, зачем КГБ разваливать Союз, тот сказал, что сам хотел бы знать. Я удивился, дескать, как это он не знает, кто из нас местный – ты или я. А он ответил, что КГБ – это часть оккупационного режима, а кто из нас оккупант – он или я. На том дискуссия и закончилась.

Теперь же всё становится на свои места. Война КПСС и КГБ не на жизнь, а на смерть, велась всё время существования Союза. КГБ время от времени одерживал тактические победы и был близок к стратегической, но КПСС каждый раз опережала его на шаг. Так было при Сталине, так было и с Берией, и с Шелепиным, и с Хрущёвым. Так было и с Андроповым, который оказался слишком слаб и болен для такого глобального проекта, как ползучий государственный переворот.

Но в КГБ и не думали сдаваться. Раз отменить партию никак не получается, подумали они – ведь столько людей на этом зубы пообломали, можно отменить то, на чём она держится – СССР вместе с его идеологией. Задумка была рискованной, но, тем не менее, на неё решились. Дело в том, что партия была более-менее сильна только в Москве. В республиках же властвовали либо ставленники органов, либо даже их кадровые работники. Формальная отмена СССР никак не уменьшала власть КГБ. Наоборот, Комитет получал в своё полное распоряжение самый лакомый кусочек – РСФСР. СССР продолжил бы своё существование, только в иной плоскости и с другими скрепами. Кэпэбэшники бывшими не становятся. Они всегда на посту, выход из системы – только через канализацию в растворённом виде или через печную трубу.

Вот КГБ и инициировал процесс распада, начав с окраин. Алма-атинские события конца 1986 года я

пережил, как говорится, в непосредственной близости. Первую скрипку Комитет там не играл – он дирижировал всей симфонией с первого такта до последнего. То же самое было и в Ферганской долине, и в Баку, и в Сумгаите, и в Тбилиси. Кровавые беспорядки 1990 года в далёком Душанбе затерялись в массе подобных новостей и довольно быстро забылись. Комитет и там был и драматургом, и режиссёром-постановщиком, и продюсером, и актёром. Выдуманный на ровном месте и умышленно раздутый конфликт прокатился затем по всему Союзу, вызвав многочисленные стычки русских и таджиков со смертельным исходом, дезертирство из армии и перманентные волнения в самом Таджикистане. Но здесь стали известны имена «театральных деятелей», которым в последний момент удалось сбежать. Выше я рассказывал, что у нас в Омске году так в 1988 искусственно разжигали конфликт между русскими и казахами, коих там было минимум процентов пятнадцать, наверное. Обстановка была хоть и не алма-атинская, но не менее зловещая и предгрозовая. По счастью, люди с обеих сторон оказались умнее, чем думали в КГБ, и столкновение не произошло. Хотя был даже назначен день.

Но в целом замысел удался. Запад ликовал: как же, перестройка, новое мышление, рынок, социализм с человеческим лицом, а потом - и вообще не социализм. Конец Империи зла! И мы держим процессы под контролем.

Как сказать. Пока реформаторы и Запад слюнявили кандаши, тыкали в калькуляторы и пишущие машинки, посылали куриные окорочка и рекламировали Анкл Бенс, КГБ псевдовыборами 1996 года успешно завершил проект по установлению своей диктатуры в России. К тому моменту все более-менее значимые посты в государстве были заняты его кадрами. Так что Империя зла очень даже жива и передаёт всем привет в виде "Кинжалов" на Киев, диверсий в Северном море и "Новичка" по всему миру.

Вместо послесловия

В детстве и юности я читал об этом эффекте в книжках, а позже и сам испытал его. Я имею в виду эффект ощущаемого ускорения времени. Помните: когда ты бегаешь, время ползёт. Когда ты ходишь, время идёт. А когда ты едва-едва плетёшься, время несётся так, что не успеваешь следить за ним. В детстве мы задирали головы на выпускников школы, и нам казалось, что если мы и будем такими, то через две жизни, не раньше. В шести-семилетнем возрасте это, вообще-то, недалеко от истины. В шестнадцать нам кажутся старухами двадцатилетние девушки, а в двадцать – тридцатилетние. Но где-то в районе двадцати пяти включается турборежим, и время начинает разгоняться. Уже забыта юность, молодость подёргивается первым жирком на брюшке, первая двойка в числе, обозначающем возраст, пока ещё греет душу, но недолго. Вскоре «вот мне и стало за тридцать» перестаёт быть лишь цитатой из старинного хита, ещё немного – и тебе уже «сороковник», ну, а дальше главной заботой становится, как заметил в своё время бессмертный Жванецкий, страх перед результатами анализов. Пищавшие когда-то в кроватках дети жалуются тебе, что из-за детского ора по ночам невозможно выспаться. Жизнь начинает новые и новые циклы, и нам на своём примере, а также на примере наших выросших детей и подрастающих внуков, лишь остаётся только снова и снова убеждаться в том, насколько эти циклы коротки.

Человеческая жизнь – ничто по сравнению с историей. Поэтому, с одной стороны, человек делает историю, с другой – жить для истории ему элементарно некогда. Об этом я думаю каждый раз, когда слышу слова «надо не валить, а улучшать собственную страну». Даже если отвлечься от стойких ассоциаций с «не спрашивай, что дал тебе

комсомол, спроси лучше, что ты сделал для комсомола», становится интересно, как и что именно надо улучшать. Так называемая «теория малых дел» («начни с себя») превратилась в мем за полвека до интернета. Что ещё остаётся? Ждать, пока цари наиграются в войнушки, а коммунисты и нацисты – в свои бессмертные эксперименты? Или пока власть в «новой независимой России» выпьет море и украдёт все деньги в мире? Или пока не закончится реалити-шоу «проживи жизнь в Четвёртом рейхе». А что, если каждая из этих фаз продлится дольше, чем твоя жизнь? И что значит улучшать собственную страну, где подавляющему большинству нравится жить именно так? Перекраивать её по себя? Как? И главное, зачем?

Я уехал так скоро, как только мог. Уехать раньше было невозможно из-за серьёзных проблем бюрократического плана, о которых я рассказывал выше. Поэтому я не могу укорять себя за то, что потерял время. И тем не менее, я его потерял, о чём очень жалею. Лишней там была каждая минута, начиная с рождения. Конечно, это вопросы не ко мне, но я сделал всё, что было в моих силах. Но всё же теперь, с высоты прожитых лет, мне жаль каждый день, каждую минуту, которую я провёл в СССР. Это время уже не вернуть, не прожить заново.

Посёлок, где я живу, ведёт свою страницу в Фейсбуке. Там время от времени публикуются фотографии семидесятых годов с обязательным вопросом: «А помните, кто это такой и когда это было?». Конечно же, я не помню. Зато я помню, где я сам был и что делал в то время. Тем более, что в интернете мне регулярно напоминают о нём старыми фотографиями с газировкой по три копейки и с мороженым по девятнадцать. Я видел оба мира и могу сравнить жизнь с убожеством. Тем самым убожеством, где я провёл все годы, пока время шло медленно. Пока в другом мире люди жили не для истории, а для себя.

